

ПАЛЕЙ И ЛЮЛЕХ



В. АНИКИН

Народная слава

В литературе при всем богатстве и разнообразии ее форм резко среди остальных выделяются сказы. Вместе с другими близкими к ним немногими видами писательского творчества они образуют особую часть литературы. Сказ — это устный монолог, говорение, речь народно-повествовательного типа. Уральский писатель Павел Петрович Бажов свой знаменитый «Каменный цветок» начал словами: «Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом возгались, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделявали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло». Здесь что ни слово, что ни оборот, то все доподлинно народное, тот говор, который в обыкновении на Урале; и к этой речи надо привыкнуть, тогда заметишь ее красоту, почувствуешь ее силу. Перед мысленным взором, как живой, встанет рассказчик — старый рабочий дед Слышко, от имени которого Бажов ведет свой сказ.

А вот писатель из Архангельска Степан Григорьевич Писахов сказ-небылицу «Дрова» ведет на другой манер — от имени северного сказителя Сени Малины: «Памяти вот мало стало. Друго и нужно дело, а из головы vyrаниваю. Да вот поехал я за дровами в лес, верст эдак с пятнадцать уехал; хватился — а топора-то нет! Хоть порожняком домой ворочайся, — веревка одна». Речь изобилует чисто разговорными словечками: «вот», «эдак». Нельзя не заметить северного «окания»: «Друго и нужно дело...», «Хоть порожняком домой ворочайся» и прочие. И эта речь привлекательна красотой нескованных, живых, энергичных интонаций.

Таковы сказы в литературе. На их стиле лежит печать непосредственной народности — и что ни автор сказа, то особая местная народная речь.

Сказы, включенные в эту книгу, объединяет одна тема — все они о труде, о мастерстве и рабочем умении — исключений почти нет, разве что сказы исторического, либо шутливо-иронического характера. Но и в них можно заметить связь с главной темой книги. Как и в самом народе, в его собственных рассказах, преданиях, бывальщинах, рядом уживается историко-легендарное и бытовое, серьезное и смешное. Так что книга носит цельный характер.

Из сказов выдающихся, широко известных, и менее известных, но по-своему тоже интересных писателей, читатели узнают, как устойчиво повторяется одна и та же мысль о труде и мастерстве, хотя сказы сильно отличаются друг от друга. Общий смысл сказов по-своему выразил Борис Викторович Шергин в полном поэзии повествовании «Рождение корабля». Писатель поведал о том, как весело и ладно строят судно для долгой и славной службы людям: «Шла работа — только топор посвечивал. С утра, со всхожего, и до закатимого стукоток стоит под Кононову песню. Далеко слышно по воде-то». И вот уже высится над

водой корабль: «...все было крепко и плотно, дельно и хитро. Кораблик как сам собою из воды родился. Кто посмотрит, глаз отвести не может». Писатель славит в величально-песенной манере корабельного мастера: «Красен в месяцах месяц май. Славен в корабельщиках Конон Иванович Тектон». «Тектон» по-гречески — созидатель, а настоящая фамилия мастера простая — Второушин.

Мастера-умельцы всегда были уважаемы в народе, их дела составляли опору всему жизнестойкому в нашей истории. И будет нелишним помнить об этом сегодня, когда в стране свершаются новые славные дела.

П. БАЖОВ

Каменный цветок

Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом возгались, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделявали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопъич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопъичу парнишек на выучку.

— Пущай-де переймут все до тонкости.

Только Прокопъич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, — учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику:

— Не гож этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопъича.

— Не гож так не гож... Другого дадим... — И нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопъичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать, — выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик все-таки помнит баринов наказ — ставит Прокопъичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.

— Не гож этот...

Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого...

Прокопъич знай свое:

— Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет...

— Какого тебе еще?

— Мне хоть и вовсе не ставь, — об этом не скучаю...

Так вот и перебрали приказчик с Прокопъичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопъич их прогнал.

Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконожий, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — навтыяжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули.

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору все-таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гош пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконожий... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет...

— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, — каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной...

Самое тут волчье место, глухое...

Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так, обсказали. Ну, из завода тоже побежали-поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчиного двора была. Тут и вовсе спуска не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже.

— Экой-то, — говорит, — с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил все-таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретью — молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь!

Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слышали. Приказчик, — он тут же, конечно, был, — удивился:

— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Вместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав, да корешков, да цветков всяких у ней засушено да навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

— А разве, — спрашивает, — еще не открытые бывают?

— Есть, — отвечает, — и такие. Папору вот слышал? Она будто цветет на Иванов день.[1] Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонек. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На Змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.

Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит:

— Иди-ко теперь к Прокопьючу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает.

Прокопьюч поглядел на него, да и говорит:

— Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.

Пошел Прокопьюч к приказчику.

— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал.

— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденский.

Ну, дело ваше, — говорит Прокопьюч, — было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик.

Пришел Прокопьюч домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьючу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

Данилушко и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопьюч закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штуку испортили, — отвечает Данилушко.

— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьюч-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьюч и говорит вовсе уж добром:

— Ну-ко, ты, мастер явленный, покажи, как, по-твоему, сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопьюч знай покрикивает:

— Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просып! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни

разок — он и ноги протянет».

Подумал так, да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий ученый?

Данилушко и рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

Прокопъич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то не руками, — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопъич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседней с находу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопъич сам управлял, что ему надо.

Поели, Прокопъич и говорит:

— Ложись вон тут на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько, — вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, — все-таки вскорости уснул.

Прокопъич тоже лег, а уснуть не может, все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку — давай эту малахитовую досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.

— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопъич. — Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл.

— Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало, — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопъича своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко знай посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопъича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отравы, — живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, — в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь — то и ладно. Хлеба возьми полишку, — естся в лесу-то, — да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко ты мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принес, Прокопъич говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопъич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед — на санях сидит, лошадью правит, а назад — за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома, да спит покрепче. Шубу ему Прокопъич справил, шапку теплую, пимы на заказ скатали. Прокопъич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопъичу тоже прильнул. Ну, как! — понял Прокопъичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопъичу расскажет, да и спрашивает — это что да это как? Прокопъич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется. «Ну-ко, я...» — Прокопъич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

— Ты чей?

Данилушко и отвечает:

— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хватить его за ухо.

— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повел к Прокопъичу.

Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился,

рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

— Ну-ка, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушко запончик[2] надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Одним словом, все как есть.

— Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопъичу:

— Этот, видно, гож тебе пришелся?

— Не жалуюсь, — отвечает Прокопъич.

— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушел, а Прокопъич дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

— Сам же, — говорит Данилушко, — показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопъича даже слезы закапали, — до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек, — говорит, — милый, Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшения разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — у малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье-змею из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопъича, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопъич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопъич пойдет, да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все-таки разумел грамоте. Прокопъич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода

позеленела от малахиту, здоровьем скудаться[3] стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Одним словом, сухота девичья. Прокопъич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко знай головой потряхивает.

— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот Прокопъичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтоб Прокопъич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь — с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопъич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только:

«Не твое дело!»

Ну, вот пошел Данилушко работать на новое место, а Прокопъич ему наказывает:

— Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбивай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

— Еще такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопъичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, — то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, — все как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопъича брать — может-де, вдвоем скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Одним словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопъичу и чертеж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопъичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, — пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает — хорошо

идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал.

— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, — не выдумают ли вдвоем-то чего новенького, — и говорит:

— Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас поди-ка хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать — не одну ночку с боку на бок повертись. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

— И то, — говорит Данилушко, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и запоговаривали:

— Неладно с парнем.

А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди:[4] черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушко на своем стоит.

— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим, и

вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная с дырками, каемочка резная...

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопъичу сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопъич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопъичу:

— Ну, ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить.

Прокопъич отвечает:

— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходитя парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

Занялся Данилушко чашей. Работы с ней много — в один год не уладишь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопъич и стал про женитьбу заговаривать:

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.

Это Прокопъич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопъич будто ненароком и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:

— погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитные больше. Катя дивится на чашу.

— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал, да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-то у мастера глаз да руки, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

— А где оплошал, — смеются мастера, — там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.

— Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопъич не раз говорил:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он еще Прокопъича и тех — других-то мастеров — учил. Все его дедушкой звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера...

— Какие мастера, дедушко?

— А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают, — какую поделку видел.

— Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите.

— Ну, и что? Какая она?

— От здешних говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

— Не знаю, милый сын. Слышал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

— Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась.

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы. Прокопъич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул.

— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка!

А он свое:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопъич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?[5]

Данилушко одно свое:

— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

И повадился он на медный рудник — на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:

— Нет, не тот...

Только это промолвил, кто-то и говорит:

— В другом месте поищи... у Змеиной горки.

Глядит Данилушко — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:

— Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что, думает, за штука? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести — и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще и прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все как есть. Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопъичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопъич помалкивает. Может, уgomонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя. Прокопъич и то говорит — живой цветок-то, хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял. Данилушко

тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопъич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся — чего еще парню надо? Чаша вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется[6] парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, — поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба прилась. К слову кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего? — и про камень припомнил: — Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорошивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут. Глядит — у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. „Вот бы поглядеть!“» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла, — отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость!

Она еще его уговаривала:

— Может, еще попытаешь сам добиться! — Про Прокопъича тоже помянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. — Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чаёт, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я, — кричит Данилушко, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так, — говорит, — пойдём, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы, и в каждом сурьянная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдешь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришел Данилушко домой, и в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красное. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, — не лучше ли ему станет».

А подружкам что... Рады-радехоньки.

— И то, — кричат, — проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную, а она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще такое причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали

расходиться — кому куда, а Данилушко уж без обряда невесту свою проводил и домой пошел.

Прокопъич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопъича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу, резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопъич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопъич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопъичу. Постоял, тут над стариком-то, повздыхал...

Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку, — только схрупало. А ту чашу, — по барскому-то чертежу, — не пошевелил! Плюнул только в серединку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загибнул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

Живинка в деле

Это еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было.

Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали.

На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай Бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились, — как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки не зарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот драчлив не живет.

По работе Тимоха вовсе емкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает.

По нашим местам ремесло, известно, разное.

Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинешку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так,

что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделявают, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткнут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Одним словом, пестренькое дело, и ко всякому сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается.

Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой занятный случай в жите вышел. На примету людям.

Он, этот Тимоха, — то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась, — придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да еще похваляется:

— В каждом до точки дойду.

Семейные и свои дружки-ровня стали отговаривать:

— Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житея не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.

Тимоха на своем стоит, спорит да по-своему считает:

— На лесовала — две зимы, на сплавщика — две весны, на старателя — два лета, на рудобоя — год, на фабричное дело — годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганочком пофуркивай либо шильцем колупайся.

Старики, понятно, смеются:

— Не хвастай, голенастый! Сперва тело изведи.

Тимохе нейдет.

— На всякое, — кричит, — дерево влезу и за вершинку подержусь.

Старики еще хотели его урезонить: вершинка, дескать, мера ненадежная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают — одна ниже, другая выше.

Только видят — не понимает парень. Отступились.

— Твое дело. Чур, на нас не пенять, что вовремя не отговорили.

Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать.

Парень ядреный, к работе усерден — кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить — милости просим. И к тонкому делу пропуск без отказу, потому — парень со смекалкой и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.

Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило.

Женатый уж был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:

— Ну как, Тимофей Иваныч, все еще в слесарях при механической ходишь али в шорники на пожарную подался?

Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:

— Придет срок — ни одно ремесло наших рук не минует.

В эти годы Тимоха и объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:

— Что ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь! Рубах у тебя недостираешься. Да и какое это дело! Чему тут учиться?

Это она, конечно, без понятия говорила. По нынешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поворачивают:

— Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь эвон звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и кислого самая малость.

Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил:

— Недолго поди-ко замазанным ходить буду.

Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера.

По угольному делу тогда на большой славе считался дедушко Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.

К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слышал и говорит:

— Принять в выученики могу, без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь.

Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:

— Даю в том крепкое слово.

На этом, значит, порешили и вскорости в курень поехали.

Дедушка Нефед — он, видишь, из таких был... обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахи расколоть, а у него и тут разговор:

— Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?

Тимоха отвечает: топор направлен и рука привычная.

— Не в одном, — отвечает, — топоре да привычке тут дело, а я ловкие точки выискиваю.

Тимоха тоже стал эти ловкие точки искать.

Дедушка Нефед все объясняет по совести, да и тот видит — правда в Нефедовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка все же останется: может, еще бы лучше по другой точке стукнуть.

Так Тимоха сперва на эти ловкие точки и поймался.

Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случает не считаешь. С мокрого

места сосна — один наклон, с сухого — другой. Раньше рублена — так, позже — иначе. Потолще плахи — продухи такие, пожиже — другие, жердевому расколу — особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей тоже.

Дедушка Нефед все это объясняет по совести, — да и то вспоминает, у кого чему научился.

— Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они — охотники-то — на это дошлые. А польза сказалась. Как учую — кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пушу. Оно и ладно.

Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться, да и говорит: «С этого боку жарче горит».

— Как, — спрашиваю, — узнала?

— А вот обойди, — говорит, — кругом, — сам почувешь.

Обошел я, чую — верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать.

Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомним:

— По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел — либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон звоном.

Тимохе все это любопытно. Видит — дело не простое, попотеть придется, а про живинку все-таки не думает.

Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил, а все же как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется.

— А почему так? — спрашивает дедушка Нефед, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?

Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал, а все-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивается:

— Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.

Тимоха и сам дивился — почему раньше такого с ним никогда не случалось.

— А потому, — объясняет дедушка Нефед, — что ты книзу глядел, — на то, значит, что сделано: а как кверху поглядел — как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!

По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом, да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел смолоду все ремесла одолеть, да в углежогах застрял.

— Никак, — говорит, — не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.

А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.

Как дедушка Нефед умер, так Малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был.

Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут... Тоже которые живинку — всяк на своем деле — ищут, только на руки не жалуются. Понимают поди-ко, что наукой можно человечьи руки нарастить выше облака.

С. ПИСАХОВ

Баня в море

В бывалошно время я на бане в море вышел.

Время пришло в море за рыбой идти. Все товариши, кумовья, сватовья, братовья да соседи ладятся, собираются. А я на тот час убежался, умаялся от хлопот по своим делам да по жениным всяким несусветным выдумкам, прилег отдохнуть и заспал, да столь крепко, что криков, сборов и отчальной суматошни не слышал.

Проснулся, оглянулся — я один из промышленников в Уйме остался. Все начисто ушли, суда все угнали, мне и догонять не на чем.

Я недолго думал. Столкнул баню углом в воду, в крышу воткнул жердину с половиком; вышла настоящша мачта с парусом. Стару воротину рулем оборотил. Баню натопил, пар нагонил, трубой дым пустил. Баня с места вскачь пошла мимо городу пароходным ходом да в море вывернулась и мимо наших уемских судов на полюбование все кругами, все кругами по воде вавилоны развела!

У бани всякой угол носом идет, всяка сторона — корма. Воротина-руль свое дело справлят, баня с того дела и заповорачивалась, поворотами большого ходу набрала.

Я в печке помешал, дым пустил, пару прибавил, сам тороплюсь — рулем ворочаю. Баня разошлась, углами воду за версту зараскидывала, небывалошну-невидалошну одноместну бурю подняла. Кругом море в спокойе, берега киснут. А по середке, ежели со стороны глядеть, что-то вьется, пена бьется, вода брызжется и дым валит, как из заводской трубы.

Тут до кого хошь доведись — переполошится! Со стороны глядеть — похоже и на животину и на машину. Животина страшна, а машина того страшне. Ну, страшно-то не мне да не нашим уемским.

Рыбы народ любопытный, им все надо знать, а в бане новости завсегда самы свежи, самы новы, рыбы к бане со всех сторон заторопились.

А мы промышляем.

С судов промышляют по-обнакновенному, как раньше заведено. А я с бани рыбу стал брать по-новому, по-банному, шайкой в воде поболтаю, рыба думат: ее в гости зовут — и в шайку стайками, а к бане косяками. Мне и сваливать рыбу места нет: на полок немного накладешь!

Стали наши рыбацки суда чередом да всяко в свою очередь к бане подходить, я шайкой рыбу

черпаю, бочки набью, трюма накладу, на палубе выше бортов навалю, другое подходит. На место полного. Это дело с краю бани, а в середине баня топится, народ в бане парится, рябиновыми вениками хвошшется, от рябинового веника пару больше, а жар легче и дух вольготней.

Чтобы дым позанепременно не пропадал, у трубы коптильню завели, это уж без меня. Я баню топил да рыбу ловил.

В коротком времени все суда полнехоньки рыбой набил. Судно — не брюхо, не раздастся, больше меры в него не набьешь.

Набрали рыбы, сколько в суда да в нас влезло. Остальну в море на развод оставили.

К дому поворотились гружены суда. Тут и я с баней расстался, за дверну ручку попроштался, впредь гостить обещался. Домой пошли — я на заднем суденышке сел на корме да на воду муку стал легонько трусить, мука на воде ровненькой дорожкой от бани до Уймы легла. Легла мучка на морскую воду да на рассоле закисла и тестяной дорожкой стала.

За нами следом зима стукнула, вода застыла. И от самой нашей Уймы до середины моря, до бани значит, ровненька да гладенька дорожка смерзлась.

Мы в ту зиму на коньках по морю в баню бегали. Рыбы учуяли хлебный дух тестяной дорожки и по обе стороны сбивались видимо-невидимо, как Мамаевы полчища. Мы в баню идем, — невода закидываем, вымоемся, выпаримся, в морской прохладности продышимся, — невода полнехоньки рыбы на лыжи поставим. На коньках бежим, ветру рукавицей помахивам, показывам, куда нам поветерь нужна.

У нас в банных вениках пар не остывал, вот сколь скоро домой доставлялись!

Всю зимушку рыбу ловили, а в море рыбы не переловить.

С того разу и повелись зимни рыбны промыслы.

Весной лед мякнуть стал, рыбы стаи тестяну дорожку растолкали, и понесло ее по многим становищам, хорошему народу на пользу. К той поры тесто в полную пору выходило, по морю шло, а это не ближней конец. Промышленники тесто из воды в печки лопатами закидывали, которой кусок пекся караваем, а которой рыбным пирогом — рыба в тесто сама влипала.

Просолено было здорово. Поешь, осолонишься и опосля чай пьешь в охотку.

Коли не веришь, так съешь трески, хотя одну трешшину фунтов хотя бы на десяток. Вот тогда чаю захочешь и мне верить будешь.

Баня по середине моря осталась и не понимает, в толк не берет, что мы к ней дорогу потеряли, сама в себе жар раздувала, пар поддавала и в такую силу, что наше море студено теплеть стало.

Вот этому придется поверить! Спроси у нас хошь старого, хошь малого — всяк одно скажет, что за последни годы у нас зимы короче стали и морозы легче пошли. Все это моя баня своим теплом сделала.

Белуха

Сидел я у моря, ждал белуху. Она быть не сулилась, да я и ждал не в гости, а ради корысти. Белуху мы на сало промышляем.

Да ты, гостюшко, не думай, что я рыбу белуху дожидался, — нет, другу белуху, котора зверь и с рыбиной и не в родстве. Может стать, через каку-нибудь куму камбалу и в свойстве.

Дак вот сижу, жду. По моим догадкам, пора быть белухину ходу. Меня товаришши-артель караулить послали. Как заподымаются белы спины, я должон артели знать дать.

Без дела сидеть нельзя, это городски жители бывалошны без дела много сиживали, время мимо рук пропускали, а потом столько же на оханье тратили: «Ах, да как это мы недосмотрели, время мимо носу, мимо глазу пропустили. Да кабы знатье, да кабы ум в пору!»

Я сидел, два дела делал: на море глядел, белуху ждал да гарпун налаживал.

Берег высокой, море глубоко; чтобы гарпун в воду не опустить, я веревку круг себя обвязал и работаю глазами и руками.

Море взбелилось!

Белуха пришла, играт, белы спины выставляют, хвостами фигурными вертит.

Я в становишке шапкой помахал, товаришшам-промышленникам знать дал. Гарпуном в белушьего жоака запустил — и попал. Рванулся белуший жоак и тем рывком сорвал меня с высокого берега в глубоко воду. Я в воду угрузнул мало не до дна. Кабы море в этом месте было мельче верст на пять, я ведь мог бы о каку-нибудь подводность головой стукнуться, а на глуже-то я только отфыркнулся.

Все белушье стадо поворотило в море в голоменье — в открыто место, значит, от берега дальше.

Все выскакивают, спины над водой выгибают, мне то же надо делать. Люби не люби — чашше взглядывай, пльиви не пльиви — чашше над водой выскакивай!

Я пльиву, я выскакиваю да над водой спину выгинаю.

Все белы, я один черной. Я нижно белье с себя сташшил, поверх верхней одежи натянул. Тут-то я по виду взаправдашной белухой стал, то над водой спиной выстану, то ноги скручу и бахилами, как хвостом, вывертываю. Со стороны поглядеть, дак у меня от белух никакого отлику нет, ничем не разнился, только весом меньше: белухи — пудов на семьдесят, а я своего весу.

Пока я белушьи фасоны выделявал, мы уж много дали захватили, берег краешком чуть темнел.

Иностранны промышленники на своих судах досмотрели белуху, а меня не признали: кабы признали меня — подальше бы увернулись. Иностранцы в наших местах безо всякого дозволения промышляли в бывалошно время. Они вороваты да увертливы.

Иностранцы погнались за белухами да за мной. Я в воде булькаю и раздумываю: настигнут да на гарпун подцепят.

Я кинул в жоака запасной гарпун да двумя веревками от гарпунов правлю на мелко место. Мы-то, белушье стадо, проскочили через мель, а иностранцы с полного разбегу на мели застопорились.

Я шни-вожжи натянул и к дому повернул. Тут туман растянулся по морю и толсто лег на воду.

Чайки в тумане летят, крылами шевелят, от чаячьих крыл узорочье осталось в пустоте туманной. Я узоры эти в память взял, нашим бабам да девкам обсказал.

И по сю пору наши вышивки да кружева всем на удивленье!

Я ногами выкинул и на тумане «мыслете» написал. Так «мыслете» и полетело к нашему становищу. Я дальше ногами писать принялся и отписал товаришам:

«Други, гоню стадо белух, не стреляйте, сетями ловите, чтобы мне поврежденья не сделать».

Мы с промыслом управились. Туман ушел. А иностранцы перед самыми нами на мели сидят.

Вот иностранцы забоялись, что мы их в город по начальству представим. Бывалошно начальство, всяки чиновники — умели грабить. Мы раньше-то лето промышляли, зиму промышляли, а жили — едва ноги тянули, все начальство отымало.

Кабы иностранцев остановил чиновник, какой на пароходе проходящей, дак иностранцам и охоть не пришлось бы. Чиновники в одиночку за ром да за виску како хошь угожденье иностранцам делали.

Иностранцы с судов голоса, выкуп сулят. Нам чужого не надо, мы народ трудовой, нам наше отдай. Взяли у иностранцев промысел, который в нашей воде добыт.

А чтобы не налетел чиновник по чужим делам, — сам-то себя он звал чиновником по крестьянским делам, — да чтобы нас не ограбил, мы иностранцев освободили.

Мы море раскачали! Рубахами да шапками махали-махали. Море сморщилось, и волна пошла, и валы поднялись, и белы гребешки побежали, вода стенкой поднялась и иностранны суда смыла, как слизнула с мели.

Иностранцы обрадели, что от ответу избавились, нам кричат:

— Русиш бра, много бра!

Это значит: русски добры, очень добры.

Мы им в ответ свое слово:

— Ладно, убирайтесь, вперед не попадайтесь, чтобы добротой своей мы не поломали ваших костей, от нашей доброты надорвете животы!

Промысел у нас остался богатой. Перво дело — я стадо пригнал, второ дело — иностранцы нам наловили. В бывалошно время начальство нам не позволяло иметь настояшшо приспособление для промыслу, как у иностранцев.

Дрова

Памяти вот мало стало.

Друго и нужно дело, а из головы vyrаниваю.

Да вот поехал я за дровами в лес, верст эдак с пятнадцать уехал; хватился, а топора-то нет!

Хоть порожняком домой ворочайся, — веревка одна.

Ну, старой конь борозды не портит, а я-то что? И без топора не обойдусь?

Лес сухостойник был. Я выбрал лесину, кинул веревку на вершину да дернул рывком. Выдернул лесину. Пока лесина падала, сухи ветки обломились.

Кучу надергал, на сани навалил, сказал Карьку:

— Вези к старухе да ворочайся, я здесь подзаготовлю!

Карька головой мотнул и пошел.

А я лег поудобней. Лежу да на лесины веревку накидываю, и так, лежа да отдыхаючи, много лесу навалил. Карька до потемни возил. С последним возом и я домой пришел.

Баба-то моя с ног сбилась, дрова сваливала да укладывала. А я выотдыхался.

Баба захлопотала и самовар скорей согрела и еду на стол поставила. Меня, как гостя, угощают за то, что много дров заготовил.

С того разу я за дровами завсегда без топора езжу. Только табаком запасуюсь, без табаку день валяться трудно.

Я за воду, за край ухватился — тут межень прошла; вода прибыла — я море опять на себя натянул: мне поспать надо, я ведь недоспал.

Солнце вверх пошло, меня пригрело. Я выспался так хорошо, что до сих пор устали не знаю.

Старики говорят: один в поле не воин. Я скажу: один в море не хозяин. Кабы в тогдашное время мог я с товарищами сговориться, дак мы бы всем работящим миром подняли бы море краем вверх, поставили бы стоймя и опрокинули бы на землю. Смыли бы с земли всех помыкающих трудящими, мешающих налаживать жизнь в обшшем согласье.

Да это ишшо впереди.

Теперь-то мы сговоримся.

Б. ШЕРГИН

Рождение корабля

Знаменитые скандинавские кораблестроители прошлого века — Хайнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров.

— Виват Ершов, Загуляев энд Курочкин, мастера оф Соломбуль. Равных негде взять и не выскать, и во всей России нет.[7]

Вот какую себе наши плотники доспели честь, своей северной родине славу. А строили, бывало, без чертежей, без планов, единственно руководствуясь врожденным архитектурным чутьем и навыком.

Но и в нашем Поморье не каждая деревня рождает славных мастеров. Как солнце и месяц перед звездами, гордится у нас перед другими деревнями Подужемье и Сума, Кемь и Уна, Лодьма и Емецк, и Соломбала.

Если у мастера рука легкая и он строит корабли, какие море любит, походливые и поворотливые, такого строителя заказчики боем отбивали, отымом отымали; ежели занят, то, словом заручившись, по три года ждали. Дождавшись, мастеру досадить боялись — криво ли, право ли хозяйской мощной трясет.

Суда у нас строили: шкуны, боты, гальоты, лихтеры, кутера, елы мурманские, шнеки, карбаса морские и речные.

Прежде были лоды, бригантины, кочи, барки — все большие корабли, на них давно мода отошла.

На днеке, древнем беспалубном судне, еще мой отец плавал в «Датеку» — Норвегию.

Рассказывал: как придем в Стокгольм или Копенгаген на шнеках, профессора студентов приведут обмерять и рисовать наши суда — то-де корабли древних мурманов (норманов).

Строили из сосны. На самой дешевой еловой посудине мачта, бушприт, стены непременно сосновые. Ну, остальной рангоут из ели. Ель на воде слабее сосны.

У Белого моря берега: Зимний, Летний, Кемский, Терский. И на каждом берегу те же суда строили своим манером.

Кому это дело в примету, тот, и в морской дали шкуну усмотрев, не только, какого она берега, скажет, но и каким мастером сработана назовет.

Красен в месяцах месяц май. Славен в корабельщиках Конон Иванович Тектон.[8]

Он родился у Белого моря, на Кемском берегу, в бедной рыбацкой семье. Пройдя наше поморское судостроительство, уехал в Норвегию и Данию. Здесь изучал языки английский, немецкий, норвежский, математику, навигацие науки, морскую астрономию, рисование. Не покидая наук, работал на верфях. Вернулся на родину уже в зрелом возрасте. Рано овдовел, рано сыновей потерял: утонули зуйками на Мурмане.

В дни моего детства слава Тектона еще трубила на берегах Белого моря.

Конону Ивановичу было уже полсотни годов. Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны, боты, бриги, гальоты и елы шивая. Норвежане и датчане не раз пожалели, что отпустили из рук такого строителя, и не одна докупались до Конона, манили деньгами, но он не покорыстовался и не поехал. А ведь сам во всю жизнь не имел ни кола ни двора. Что заработает, все раздает в долг без отдачи.

Кому Конон дело делает, тот в его воле ходит.

Строил однажды Конон океанское судно богатому купцу. Была весна, и дело приходило к концу.

И у купца гостил брат, важный петербургский чиновник. Этот господин повадился кутить на постройке со своими приятелями. И мастер того не залюбил.

Однажды срядился Конон с подмастерьями, с Олафом да с Василем, в город. В городе они разошлись. Вечером мастер первый воротился на карбас и сел дожидаться ребят. Тут — не

ждан, не зван — подкатил к карбасу на трех извозчиках хозяйский брат с веселой компанией, все пьяны и с песнями. Да начали нахально приказывать:

— Вези к новопостроенному судну. Нам угодно, там гулять будем.

И Конон отказал:

— А нам не угодно... И гулять там не будете.

Они не послушались, только пуще закуражились и полезли в карбас самосильно. А один, толстый, подскочил и сбил с Конона шапку, не зная его плотной силы.

Тогда Конон Иванович, губу закусив, поднял толстого за шиворот и огрузил в воду, чтобы его благородие прохладилось... И, опять тряхнув, бросил в карбас, ажно поддон заговорил.

Гуляки — на Конона с кулаками:

— Утром мы тебя, хама, в тюрьму бросим, а теперь вези, куда приказываем!

И который с ружьем учал палить и одной барыне обжег ухо.

И Конон, бояся головщины,[9] открыл парус и сел на румпель. До судна бы ходу четверть часа, а уж карбас бежит и все три четверти. А те припали до девок, как век не видали, — не понимают, что кормщик правит к дальнему пустому острову. Да и тот накрыло туманом.

Как на широком месте качнуло, хозяйский брат прохватился:

— Ты пьян, мужик? Куда ты правишь? Почему долго едем?

И Конон ответ держит:

— К ночи вода кротка, а карбас от народа грузен. У постройки на мель сядем. Обойдем подальше, где берег глубже.

И тут, рулем покосив, Конон причалил к берегу:

— Приехали!

Те выкарабкались на незнакомое место и опять приправили грозить и лаять, зачем стройки не видно! И охотник опять палит, как дикий. А Конон выкинул им корзины с вином и закусками, веслом отпихнулся — да и был таков...

Целую ночь бродили господа те по песку в тумане. Судна наискались, перевозу накричались, куда попали, не понимают.

Ну, коньяков с собою было на залишке — небось не озябли.

А утром туман снялся, и они увидели себя на голой песчаной кошке.[10] И судно новопостроенное видать не так далеко; только стоит на другом острове за рекою.

Ах да руками мах, а на том не переедешь...

Вскоре подобрали их устьянские бабы-молочницы: плыли в город с палагушками.[11]

А кто прав остался?

А Конон!

Хозяин, бояся, как бы мастер на гнев работы не покинул, тот же день причесал на стройку,

по палубе за Кононом ходит. Брата с компанией всех приругал:

— Сами себе они, страдники, страм доспели. Как ты их, дорогой мастер, выучил... Хы, хы!.. А у нас с тобой нету обиды. Нету!

Однако по жалобе петербургского чиновника губернатор хотел было высвистнуть Конона Ивановича из города, да раздумали: кончилась японская война, начинались забастовки.

В те дни и годы отобралось маленькое стадышко пизовских моряков в артель, чтоб не кланяться хозяевам, не глядеть из чужих рук, а самим осилить постройку большого судна для океанского плавания. Моего отца выбрали артельным старостой и казначеем. И отец загодя припас лес, и приплавил к городу на остров, и распилил, и коры обтесал.

Товарищи матерьял осмотрели, благодарили и спросили:

— Каким думаешь мастером строить?

А отец и говорит:

— У меня один свет в очах — Конон Иванович, да он сей год в Кеми завяз...

Было подумали на Пигина, кронштадтского мастера, он давно насватывался, но помянули, что Пигин человек зависимый, ему Немецкая слобода только палец покажет — он артельное дело бросит... Нет уж, без Конона Ивановича нам не сняться.

И, надеясь на прежнюю дружбу, что он прежде к нам хаживал, хлеба едал, квасу пивал, послался отец к Конону Ивановичу с писемцем:

«Любезный мастер и друг! Охота видеть твоего честного лица и сладких речей слушать. А мы тебе в Архангельском городе делов наприпасали. Воля ваша, а большая наша!»

Старая любовь не ржавеет.

Мастер дела в Кеми довершил и на олешках через Онегу приехал в Архангельск. Стал на постой в Соломбале и дал знать отцу.

Как мы обрадовались! Долго ждав, думали: не в Норвегу ли мастер убрался?

Тот же вечер отец собрал артельных:

— Как рассудите? Деды ваши с осени строили, чтобы, зимой закончив, на внешнюю большую воду спускать. А тут мастер прибыл при конце зимы...

Все зашумели:

— Радоваться надо, что прибыл, и все тут!

Отцу давно хорошо. Утром он засряжался в Соломбалу, запряг самолучшие санки. Взял и меня с собой.

Я говорю:

— Что бы мастеру-то самому к нам приехать?!

— Так не водится. Он художник, он строитель... К добру ходят-то, не с добром.

В Соломбале едем по Бессмертной улице, не знаем, который дом. А мастер сам нас укараулил, в окно сбарабанил.

Как зашли в комнату, справили Конону Ивановичу челобитье. И он равным образом, выйдя из-за стола, бил челом.

Потом поздоровались в охачку. И которые с Кононом Ивановичем сидели два сличные молодца тоже встали и поклонились. Один — быстрый, темноглазый, другой — светловолосый, конфузливый. Тогда пришли за стол, стали беседовать и друг на друга смотреть. А Олаф и да Василь — подмастерья — опять сели красить на листах разным цветом: синим, зеленым, красным. Нарисованы корабли, как их погодой треплет. Я сам рисовать до страсти любил и уж тут все глаза растерял.

Невдолги отец домой сторопился, и я с дива пропал, что о деле ни слова не сказано.

Дорогой я не утерпел:

— Про кораблик-то уж нисколько не поговорили...

— Что ты, глупой! Ведь мы с визитом.

— Неужели они, папа, тройма трехмачтовый корабль поставить могут? Подмастерья-то вовсе молоды.

— Годы молоды, да руки золоты. А Конон! Нет таких дел человеческих, чтобы ему не под силу. Конечно, станут и артельные время от времени помогать.

Рекой едуци, отец все свою думу думал, а я свою. Только как стали к дому подыматься, я еще спросил:

— Папа, тебе любо ли?

— Как не любо. Пускай-ко наши толстосумы поскачут. Они Кононка-то, никак, четвертый год добывают... А второе мне любо, что ты его художества насмотришься и золотых наслушаешься словес.

На масленице Конон Иванович у нас гостил. Его ждали — по крыльцу, по сеням половики стлали новотканые, по столам скатерти с кистями.

Я заметил, он ел малехонько-редехонько и пил — только прилик принимал. Потом ушли в отцову горницу. Там сразу поставили разговор на копылья. Мастер начал спрашивать: «Кто да кто в артели, очень ли купечество косится, на какой реке и давно ли лес для стройки ронили и какая судну мера, на сколько тысяч груза?»

И отец ему учал сказывать:

— Лес сосновый, рубили на Лае-реке, зимой, два года назад. Деревя — ни кривулины, ни свили, ни заболони — настоящая корабельщина. Ноне все пилено и тесано, мастера дожидается.

На полу мелом накинули план, и по этому чертежу мастер повел умом. Пошла беседа на долгий час.

Наконец дело отолковали, и порядились, и руку друг другу дали. Значит, надежно с обеих сторон.

Я тут же в сторонке сидел, помалкивал. Охота было спросить, почему художники Олаф да

Василь не пришли, да не посмел.

На следующей неделе отец с Кононом многожды ездил на место стройки. Вечерами говаривал матери:

— Ты, моя хозяйшкa, мастера наблюдай, пироги ему пеки да колобы. Мне его моряки поручили... А вы, робятки, будьте до Конона Ивановича ласковы, чтобы вас полюбил. Того же месяца за Соломбальским островом начал строиться наш корабль «Трифон».

На острове на песке лежали деревья золотые, прямотелье, дельные. И мне дивно было, как из этого лесу, кокорья и тесин судно родится.

Вот как дело обначаловал Конон Иванович Тектон.

На гладком, плотном песке тростью вычертил план судну, вымеряя отношение частей. Ширину корабля клал равной трети длины. А половина ширины — высота трюма. На жерди нарезал рубежки и такой меркой рассчитывал шпангоуты. Чертил на песке прямые углы и окружности, все без циркуля, на глаз, и все без единой ошибки.

По этому плану сколотил лекалы. Тогда приступает к постройке.

Выбрав дерево самое долгое, гладкое, крепкое, ровное, положили матицу, или колоду, то есть основание корабля, — киль.

На киль легла спина корабля, поддон. Продолжение кия — упруги, или штевни, к носу — форштевень, к корме — ахтерштевень.

Как у тела человеческого на хребте утверждены ребра, так в колоду, в хребет, вращили ребра корабельные — шпангоуты. Они в ряд, как бараны, рогами вверх уставились.

Как на кости у нас наведены жилы и кожа, так остов корабельный обшивали изнутри и снаружи широкими сосновыми досками.

Чтобы обшивка льнула к шпангоутам, доски парили. Была сделана печь с водяным котлом. Пар валил в длинную, протянутую у земли деревянную трубу. В трубе и держали тес до гибкости.

Как кожу дратвой, прошивали корпус вересовым корнем и железом и утверждали дубовыми гвоздями — нагелями.

Концы у нагелей расклинили и расконопатили, и железные наружные болты внутрь загнали и внутри расклепали.

Потом все проконопатили и просмолили.

Не на час, не на неделю — на век строил мастер Конон Тектон! В то время распута прошла и ожили реки.

С борта на борт перекинул Конон Иванович перешвы — бимсы, на них постлал палубу. А в трюм, в утробу, на поддон намостили подтоварье — ставни из тонких досок, чтобы груз не подмокал.

Шла работа — только топор посвечивал. С утра, со всхожего, и до закатимого стукоток стоит под Кононову песню. Далеко слышно по воде-то.

Когда «Трифон» строился, уж я там спал и лежал. Хоть до кого доведись, каждому любо поглядеть, как корабли рождаются. Да и к Конону старого и малого как на магнит тянуло. Был

Конон Тектон велик ростом, глазами светел и грозен, волосы желты, как шелк.

Он встречал меня тихим лицом, и много я от него узнал о греческих, римских, итальянских строителях и художниках. О Витрувии, Винчи, Микеланджело, Браманте, Палладио.

В тихий час, в солнечную летнюю ночь сядет Конон с подмастерьями на глядень, любит жемчужно-золотое небо, уснувшие воды, острова — и поет протяжные богатырские песни. И земля молчит, и вода молчит, и солнце полуночное над морем остановилось, все будто Конона слушают... А Конон сказку расскажет и загадку загадает:

Дочь леса красного,

Возраста досельного.

Много путем ходит,

А следу не родит...

Это что?

Мы с Олафом молчим. Он еще русской речи в тонкости не понимает, я умом вожу, не знаю, к чему примениться. А Василь, быстрый, схватчивый, скорехонько брякнет:

— Лодка!

Конон Иванович, родных сыновей потеряв, любил, как детей, своих помощников Василька и Олафа. Кроме кораблестроительства, учил их языкам, английскому и немецкому, рисованию, математике и черчению, работе с морскими картами, с лоцией. Олафа Конон привез из датских городов, и тот до смерти не отходил от него. Олаф уж не похож был на гулящего парнишка. Не помянет молодецких дел, хотя и бритву накладывал года три. Ему гулять не надо, нарядов не надо, не попросит уж костюма. Он и не знал, что в торгу костюмы есть. Такой не щеголь был.

Олаф со мною перво молчал. Я спросил:

— Что молчишь? Родом такой разве?

Он тогда рассмеялся. Да и с мастером Олаф больше помалкивал, а Василь придет и — разговору! Василь пьет и ест — и все говорит, не перестает, как гулял да с кем гулял.

Олаф брови насупит:

— Как хочешь — мне это не надо.

Василь недоверчиво:

— Хм... Бреешься, дак кого-ле приманиваешь. Свои и так куда не деваются.

Олаф первый у корабельного дела помогал и всему научился, что учитель знал.

Так почитал мастера Олаф, что и хлеба без него не ел.

Другой, Василь, ученик был на все талантлив, ко всему горяч, жаден на всякое добро и неистов на зло. Временем бесчинствует и мастера ничем зовет; до того дойдет — унесет с корабля дорогую какую вещь и продаст и прогуляет. Да укараулит пароход английский или норвежский, упромыслит себе приятелей таковых, каков сам, и в портовых притонах ножи кровью поят из-за подруг.

Дойдет дело до властей, и Конон по судам ходит, штрафы платит, стыдом лицо кроет перед людьми, которые лицо его честное и видеть бы недостойны. Кто Конона Ивановича любил да знал, те за него оскорблялись и на Василия были в кручине, что учителя не бережет. Однажды, когда Василь подвел мастера под ответ и дело попало в газету, мать моя, заплавав, сказала:

— Ты, Конон Иванович, как река без берегов, не только человека, а и скота напояешь.

А Конон ласково:

— Хоть и вор, да мой, дак и жалко.

А погода Василь опять придет к мастеру, и зовет, и рыдает, и просит Олафа. И Олаф приложит к слезам слезы, Конон, видя бледное Василево лицо и синеву под глазами, вспомнит родных сыновей, сокрушится сердцем и пожалеет. И отерев Василию последнюю слезу, начнет ему добром говорить:

— Ты теперь в совершенных летах. Поезжай в Датску на верфи. Ты, Василь, талантлив, учишь. Я тебе и письма дам заручные...

И Василь ухватит мастера руками, закричит:

— Я в вашей хочу быть воле! Не надо мне датских!..

Значит, опять работают вместе. На вечерней заре сядут у реки. Олаф справа, Василь слева. И руки мастера, каждый свою, держат. Перед Кононом на береговой свае книга, Шекспир или Свифт. Читает вслух и заставляет учеников переводить.

А пошло время к лету — и три мачты кондового лесу поднялись над островом. Три мачты ставят, когда судно на дальнее, океанское плаванье, если на ближнее, в своем море, то две.

Передняя — фок-мачта, средняя — грот-мачта и задняя — бизань.

С носа от форштевня уставился бушприт.

И как скрипичный мастер струны настраивает, а они гудят и звенят, так Тектонова искусная рука протянула снасти к мачтам и реям, к штевням и бортам.

В оснастке весь стоячий такелаж завели по-богатому — из четырехрядной чесаной пеньки, только такелаж бегучий из обыкновенной, трехрядной.

Да в ту же оснастку корабельную блоков одношкивных и двушкивных с железной оковкой не меньше полусотни штук. От скул к носу, где хлюсты — ноздри корабельные, — наверху цепи и якоря. Якорь в семнадцать пудов да якорь в пятнадцать пудов. Цепь в шестьдесят пять сажен да цепь в пятьдесят сажен. И белыми полотняными парусами нарядили грот-мачту и фок-мачту с реями; и на бизань — косые паруса.

Много было дела у корабля, и редкий день у мастеров не работали добровольные помощники из артели. По бортам, по мачтам у рангоута все ковано железом, и дверцы, и ободверины покованы медью. И оконцами посветить «Трифону» не забыл Конон Иванович. И печку сложили. И помпы в трюме — воду откачивать.

Потом судно до ватерлинии окрасили красно, а побочины — ярью зеленою и белилами. А у

носа и по корме золотыми литерами — имя «Трифон».

Кратко сказать — все было крепко и плотно, дельно и хитро. Кораблик как сам собою из воды родился.

Кто посмотрит, глаз отвести не может.

А медь сияет на солнце!..

Осенью, когда начал лист на лесу подмирать, и судно было готово.

Последний день августа завелась у нас стряпня. И первого сентября утром, когда обрадовалась ночь заре, а заря — солнцу, поплыли артельные к острову, где «Трифон» строился. И увидели: стоит корабль к востоку, высоко на городках, у вод глубоких, у песков рудожелтых, украшен, как жених, а река под ним как невеста.

...Мастер Конон сошел по сходням, стал на степей и поклонился большим обычаем. У него топор за поясом, как месяц, светит.

И мы на ответ кланялись равным образом.

Артельного старосту, отца моего, мастер взял за правую руку и повел вокруг судна и, обойдя, поднялся на палубу. Следом шли все.

В то время вода заприбыла, стала на мерную степень, да пал ветерок береговой.

Тогда Конон с Олафом сходят на землю и берут в топоры два бревна, держащие судно на городках, над водами.

В то время у старосты пуще всех сердце замерло... И внизу треснуло, и судно дрогнуло да прынуло с городков в воду. И я носом о палубу стегнулся, да и все худо устояли.

А отец смеется:

— Что ты, воронье перо, вострепещился?

Мастер, поднявшись на палубу и став на степень, говорил:

— В чем не уноровил и не по вашему обычаю сделал, на том простите.

Все к нему стали подходить и поздравляться в охапочку.

А «Трифон» покачивался на волнах — видно, и ему любо было.

Тогда отдали тросы и отворили паруса. В паруса дохнул ветер. И пошел наш корабль, как сокол, ширясь на ветрах.

Все песню запели:

Встаньте, государи,

Деды и бабы:

Постерегите, поберегите

Любимое судно.

Днем под солнцем,

Ночью под месяцем.
Под частыма дождями,
Под буйныма ветрами.
Вода-девица,
Река-кормилица!
Моешь пни, и колодья,
И холодны каменя.
Вот тебе подарок:
Белопарусной кораблик!

И обошли кораблем далече по солнцу. А паруса обронив, бросили якоря у того же острова на живой воде.

На палубе накрыт был стол со всякой едой, рыбной и мясной, с пирогами и медами. За столом радовались до вечера. Таково напировались, ажно в карбас вечером погрузились не без кручины. Егор Осипович с Иван Петровичем, старые капитаны, в воду пали, мало не потонули. Куда и хмель девался. Домой плыли, только мама, да Конон, да еще трое-четверо гребли. Остальные вовсе в дело не годились. А к берегу причалили и на гору подняться наши гости не могут, заходили по взъезду на четвереньках. Вот сколь светлы были.

Конец сентября отец отвел «Трифона» в деревню Уйму, города выше десять верст, на зимовку.

А придет весна-красна, и побежит наше суденышко на Новую Землю по моржа и тюленя, пойдет на Терский берег за семгой, в Корелу за сельдями. Повезет в Норвегу пеньку и доски, сало и кожу. Воротится в Архангельск с трескою и палтусом.

М. КОЧНЕВ

Палей и Люлех

Леса непролазные, дремучие, чуть ли не до подоблачья когда-то в нашем краю росли. Ни конному — проезда, ни пешему — прохода. Сказывали старые люди: вот в такую глухомань, где от веку топор не бывал, бежали тайными тропами люди от боярских батогов да от воеводских плетей. Облюбуют себе местечко и притулятся где-нибудь в хмурой чащобе, будто их и на белом свете нет.

В ту пору много беглых таилось в лесах.

Прилепились к одной чистоструйной речке в лесу, в Суздальском воеводстве, три домины. Не от сладких калачей забрели сюда люди. Повырубили лес, пни повыжгли, стали поле пахать.

Как-то Елисей посылает своих сыновей Палея и Люлеха на охоту за белками.

Мать Охромеевна сыновьям по холщовому мешку сшила, колобков напекла, отец стрелы настрогол. Вздели Палей с Люлехом по луку и отправились в путь.

Пошли вверх по реке. Идут, белок постреливают. Орехов много в тот год уродилось — белка на орех-то и прикочевала.

Люлех помоложе Палея был. Он и говорит дорогой старшему:

— Братец, а братец, давай пойдём до края земли. Люди баяли, что до края-то недалече. Дойдем да глянем, какой такой край земли. Кстати, в небо постучим.

Палею тоже захотелось повидать край земли. Вот они и пошли напрямик. Шли, шли, а края земли нет как нет.

Уж недели две минуло. Что ни идут, лес все выше, все гуще, сосна да ель, да дубы.

Птицы, звери — у каждого дерева, за каждым кустом. Тетерка перескочит в траве под другой куст, притаится, круглым глазком из-под ветки выглядывает.

Мишка-топтыжка, с седым пятном на лбу, ходит, ягоды слизывает, глянет на наших молодцов и снова за свое дело примется.

Палей и Люлех пустили в него по стреле, да не попали. А медведь говорит им:

— Я на всех пасаках бывал, все малинники в бору примял. Ни стрелой, ни рогатиной меня не взять! Уходите, а то обоих подомну!

Только перешли они речку, серый волчище — рыжий бочище навстречу. Не успели по стреле достать, волк как махнет через каряжину, бахвалится:

— Я во всех овчарнях бывал, у всех пастухов ягнят воровал, никого не боюсь! Ни стрелой, ни капканом меня не взять. Идите лучше своей дорогой, а то обоих съем!

И скрылся. Однако Палей и Люлех не испугались угроз. Дальше идут, между собой разговаривают. Лисица в чаще красным хвостом, словно горящей головней, вильнет, голову вскинет, посмотрит, что-де за новые гости в ее царстве-государстве объявились, да опять в чащобу шмыгнет.

Лоси — рога ветвистые, как голые кусты по осени, в стороны шарахаются.

Видят братцы, что не дойти им до края земли, повернули обратно, да и заплутались. Сколько ни бродят, лесу конца нет.

Люлех шибко испугался.

На реку вышли, по ней наугад, куда глаза глядят, пошли. День за днем, день за днем — уж третьи лапти истоптали наши охотнички, а хоть бы голос человеческий услышали.

Даже днем в лесу сумеречно: сучья сплелись в вершинах, словно сверху одеяло накинуто.

Вдруг заметили братья стежку еле приметную и свернули по той стежке.

Блеснуло сквозь сучья голубое небо. Обрадовались. Смотрят — поле среди леса. Овес скошен, в копны сложен, вдали ветряная мельница на горке. И уж чудится им где-то людской говор. За поляной под высокими соснами деревянный терем стоит, весь в резных узорах — от нижнего бревна до конька. Десять окон по лицу, бревна — не охватишь, на окнах наличники

узорчатые, а резьба-то какая — диво! Над тесовым ступенчатым крылечком по карнизу все лесные звери собраны: медведь на дудке играет, заяц, белка да лисица вокруг бобра с куницей хоровод водят.

За частоколом на высоком шесте медвежий череп и огненный лисий хвост висят.

Не знают наши парни — идти ли в терем? Что за люди здесь живут, не воеводские ли охотники?

— Братька, а сдается, мы на край света пришли, — говорит Люлех.

Будь что будет; решили братцы попытать счастья, войти в терем.

Сказано — сделано. Вошли. Людей нет никого. В сенцах вениками пахнет, хмелем, на жердочке дюжины две лаптей лежат, в углу — бочонок с медом. Попали братья в горницу. Диву дались: на стенах — ширинки узорчатые вышивки невиданной: гроздья вишенья, хоть бери с полотен ягоду да в рот клади, петухи взъерошенные драчливо склонились над жемчужиной.

— Братец, что это? — бросился Люлех к столу.

А на столе-то теремок златоверхий в двенадцать башенок из дорогого дерева выточен. Весь огнем-золотом плещет. По краям — узорчатая кайма серебряная, а по бокам теремка — палаты, златоглавые соборы.

Повернули теремок другой стороной. Ахнул Люлех:

— Братец, что это за цветы такие?

Вгляделись — а это вовсе не цветы: мужики с бабами рожь на гумне цепами молотят. Издали-то глядишь — будто ворох цветов рассыпан.

Третьей стороной повернули.

— Братец, что же это? — кричит Люлех.

Вгляделись, — а это лужавина весенняя: колокольцы голубые, ромашки — белые рубашки, золотоглядь-лютики.

Вертели, вертели братцы теремок, да и уронили золотую крышку с него.

— Батюшки, изломали!

Отпрыгнули от стола. Однако заглянули в теремок — что в нем? А в нем белый клык медвежий, коготь бобра да длинные серебряные иголки острием кверху в пучок связаны.

— Братец, что за иголки? — спрашивает Люлех.

— Братец, на дне-то золото! — кричит Палей.

Глянули получше — это не золото, а багряные осенние листья.

— Братец, не у Змея ли Горыныча мы в дому? Бежим отсюда, — дергает за рукав Палея Люлех.

А Палею-то уж больно завлекательно в тереме. Куда взор ни кинешь, везде забавы.

Глянул Люлех под ноги:

— Братец, что за листья на полу?

А это нарядные самотканые дорожки.

Отворил Палей кленовую дверь в горенку.

— Люлешка, глянь-ка, глянь, что здесь-то делается!

Таких чудес и во сне им не виделось.

Все стены изукрашены. Чего-чего тут нет!

— Братец, что за звездочки золотые на стене? — спрашивает Люлех.

А это яблоня кудрявая зеленая, золотыми яблоками усыпана; на сучьях два мальчонка сидят, яблоню качают.

Яблоки на землю золотым градом сыплются.

Оглянулся Люлех — со стены смотрит на него белка с живыми глазами, вот-вот прыгнет с ветки.

У оконца — длинный стол, на столе — двенадцать яичных скорлупок, как двенадцать цветков цветут, в одной — золото, в остальных — краски всех цветов радуги небесной. Медвежий клык — посередине стола, и кисточки острые, как иглы.

Что же это за зелье в белых скорлупках? Палей окунул палец в золото, и Люлех за ним туда же.

У обоих пальцы золотыми стали, будто по золотому наперстку надето.

Не заметили братья, как вошла в дом девчоночка-подросток, черноглазенькая, босоногая, в красной юбочке, и косички по плечам. Увидела она гостей, проворней белки выскочила из избы. Бежит, сама кричит что есть моченьки:

— Батюшка, батюшка, у нас слуги бояревы!

И бегут тут из лесу с топорами старик, да его сыновья, да за ним старуха с дочерьми.

Старик бел как лунь, борода по пояс, брови густые, сивые, стар, но сила в нем молодая.

Глянули братья на старика — глаза у того грозные, да и у сыновей тоже, сейчас обоим головы смахнут.

Схватили хозяева Палея с Люлехом, руки, ноги связали, за переборку швырнули. Сами по дому проверять пошли.

Что хозяева говорят, Палею с Люлехом слышно.

— Батюшка, у моего теремка крышу свернули! — кричит черноглазая.

— Белку-сторожиху хвостом в другую сторону повернули! — жалуется средняя дочь — Беянушка.

— Золото мое пальцем пробовали! — кричит один из сыновей.

Топоры звенят, сыновья дверями хлопают — погибель верная, запропали молодцы.

Стали хозяева судить, решать, что с пришельцами делать. Один-то из сыновей советует:

— Знамо, боярские дети или воеводские слуги. Подосланы. Погубят. Отвести в лес — и голову на пень!

Старик Савелий подумал и говорит:

— Сгоряча добрых бы людей не обидеть. Сначала провер устроим.

Выводят Палея с Люлехом в горницу. Оробели братья-охотники. Поставили их обоих рядом. У обоих на пальцах по золоченому наперстку. Явная улика. Старик глянул на золоченые пальцы, говорит сыновьям:

— Не почернело золото — значит, добрая рука.

Незванных гостей спрашивают:

— Кто вы и откуда? Говорите чисту правду, у меня есть кому проверять.

Палей с Люлехом сказали все, как есть.

Савелий снял с гвоздя клетку с белкой, открыл окно, вынул белку с шелковым хвостом, наказывает:

— Узнай-ка, все ли сыновья у мужика Елисея дома? Если нет двоих, ко мне явись да скажи о том. А после гуляй по своей воле.

Резвая белка махнула из клетки на сосновый сучок, и была такова.

День прошел — белки нет, второй минул — белки нет. На третий день было снова руки, ноги крутить хотели Палею с Люлехом, а тут как раз белка и пожаловала, качается под окном на сучке, в окошко лапкой стучит, будто сказывает:

«Нет у мужика Елисея в избе сыновей ни старшего, ни младшего».

— Ну ладно, скачи, гуляй!

Посоветовался Савелий со своими сыновьями, позвали Палея с Люлехом в ту светлую хоромину, где на столе теремок стоит.

Первый-то теремок — с двенадцатью башенками, узорами расписан, крышей златоглавой крыт. Что в том теремке — неведомо. Второй теремок — без крыши, выструган из дуба, узоров на нем нет, полон золота. А третий — из клена сготовлен, тоже без узоров, этот полон серебра.

Подвели Палея с Люлехом к столу. Савелий и говорит:

— Перед вами три теремка, и под каждым из них своя судьба. Какой теремок себе выберете, такую и судьбу примете. Думайте, решайте, сами выбирайте.

— Мне бы вот этот теремок, — просит Палей, а сам на первый указывает.

— Мне тоже. — Люлех за ним.

— Быть по сему! — воссиял Савелий, и все его сыновья улыбками расцвели.

Сняли со стола белую скатерть. Под третьим теремком — сухая, черная жужелица,[12] под вторым теремком — желтый жук-короед, а под первым — три вещицы: кисть серебряная, цветок алый да белый клык медвежий.

— Вот судьба ваша! — И подает им Савелий кисть, лазоревый цветок и медвежий клык. — Тут и я вам, коль хотите, кой-чем помогу.

И посадил он их к себе под руку, стал учить своему дивному занятию.

Ребята оказались понятливые. Зима пришла, до дому далеко. Целыми днями сидят они в светлой горнице да узоры пишут. В яичных скорлупках все краски перед ними. Расцветают под тонкими кисточками пестрые цветы, сплетаются узоры причудливые. Савелий их золотит, медвежьим клыком шлифует.

И все Савелий побывальщины рассказывает, только о себе не обмолвится — кто, да откуда, да какими судьбами сюда попал.

— Сам ты откуда, хоть сказал бы? — раз спрашивает его Палей.

Нахмурил Савелий седые брови, помолчал.

Прошло сколько-то времени, Палей опять про то же спрашивает:

— Какого же ты роду-племени сам-то?

— А такого же, что и ты, — Савелий ответил.

Згнал рубаху, — а спина-то у него вся в рубцах. Тряхнул старик седыми волосами, откинул прядь — а уха-то одного и нет, краешек небольшой остался.

— Собаками ханы-ироды травили, как волка! — сверкнул Савелий глазами, кисть бросил и ушел из горницы.

Две сестрички — дочери Савельевны Беяна и Чернява — пришли отцовы кисти мыть. Этак пристально на Палея с Люлехом поглядывают.

— Вы, ребята, не тревожьте его — тяжело ему о том вспоминать, — говорит старшая.

Дружная семья, рукодельная.

Сыновья-умельцы на кости, на дереве тонкие узоры режут, теремки да шкатулки мастерят. Савелий те теремки расписывает, золотые крышки делает, зверя, птицу — что только на разум падет... А дочери за пядями сидят.

Палей с Люлехом раз и попытали:

— Дедушка Савелий, а ты свой секретец знаешь, да не весь нам сказываешь.

— Только у бездельника нет своей умелинки. Какой же мастер своей умелинки не имеет! — ухмыляется Савелий.

Сидят братья по бокам Савелия, так и цветут. Днем-то за работой не видят, как время летит. Только одно горько: разлучились они с отцом, с матерью, и надолго. И весточку послать своим старикам не с кем.

Уж весна подступила, солнце снега растопило, побежали ручьи во все стороны.

Увидят братья, как в небе журавли вереницей летят, машут им шапками:

— Эй, журавлики, скажите там отцу с матерью: пусть об нас не кручинятся, мы скоро домой придем!

На сосну самую высокую, на самую ее маковку гибкую, влезали в ясный день: не увидим ли, мол, свою родную сторонку. Что ни глядят — морем зеленым во все стороны все лес да лес, без конца-края.

Весна-красна на кусты, на березки зеленые полушалки накинула, на пригорках пестрые костры зажгла, песни звонкие по лесу рассыпала.

От зари до зари за окнами гам, звон, свист. На речке рыба плещется-гуляет. Приволье. Ряженные щеглы, дрозды, синицы, малиновки под окнами с ветки на ветку перескакивают, гнезда вьют. Все звенит, торопится, зеленеет, цветет, силы набирается, к солнцу ясному, к свету тянется. В такую пору и на душе становится светло и радостно, как в праздник.

Принес Савелий целую охапку лесных цветов, по столу рассыпал, сам — за кисточку. Братья спрашивают:

— Цветы писать станешь?

— Нет, — качает головой Савелий. — Загадал я писать не цветы, а щиты, не поляны, а кафтаны, колчаны да палицу. Покажу я, как детина Илья Муромец в чисто поле собирается на ратный бой.

Приумолкли ученики, посиживают, не отводя глаз смотрят. Савелий на цветы поглядывает, кисточку в скорлупки окунает, словно ничего вокруг не видит, не слышит. Глядит-то он на цветы, на кашку розовую, на лютики желтые, а под кисточкой у него доспехи золотом блещут, с золотого лука стрелы прыщут, по голубой секире струится алая кровь.

Будто смотрит Савелий не на цветы и травы, а на побоище в чистом поле. Будто не мать-и-мачеха, не иван-да-марья перед ним, а мечи, копья.

— Эх, вона как! — ахнул Палей.

И так его приохотило к Савельевой кисти, что, кажется, теперь он готов хоть всю жизнь просидеть под рукой у Савелия, только бы перенять его умелинку.

В открытое-то оконце зеленую лапу ель протянула, словно тянется за той диковинной вещцей, что на столе лежит.

Вот прыг-скок по зеленому сучку белка-поскакушка — пушистый хвост, чуть в светлицу не заскочила, села на зеленом сучке у самой рамы, покачивается, приметливым глазом на побоище заглядывает, а в передней лапке у нее белая береста, баранчиком свернута.

Савелий взял у нее бересту, она и ускакала. А на бересте что-то коготком нацарапано.

— Что она принесла, дядя Савелий?

— Весточку принесла моя посланница: была она ни близко, ни далеко — в вашем краю. Приехал к вам купец с товарами, кафтаны дешево продает. И не знают отец с матерью, какие кафтаны вам покупать: по росту или с запасцем. Как, пойдете ли мерить? — спросил Савелий и кисть положил.

— Дай срок, подумаем, — отвечает Палей.

Вот лежат они ночью на полатах. Люлех домой тянет, а Палей его отговаривает:

— Кафтаны-то от нас не уйдут, а умелинка-то убежать может. Только дело у нас на лад пошло. Давай еще маленечко погодим.

Как старший, так и младший опять посиживают под рукой у Савелия.

Савелий наказывает им:

— Вот что, братцы, я забыл вас упредить: ведь умелинка-то моя откроется вам только через три года, не ране.

«Ладно, — думают братцы, — ради такого дела и три года срок не больно длинен».

Не заметили братья, как и лето пролетело, как и осень дождями прошумела.

Вот уже в трубе опять по ночам метелица плачет. На оконцах мороз узоры пишет. А за окнами сосны, ели дремлют в белых тулупах. У самого забора волки по ночам панихидят с голоду. Опять Савельевы дочки Беляна и Чернява за прялками сидят, кудель тянут, жужжат, поют веретена, а старуха в кленовой ступе дубовым пестом коренья, травы сухие толчет — такой запах сладкий по всей избе!

Раз зимой, в ту самую пору, когда холсты настят, сидят братья в светлице за своим делом.

Савелий припал к стеклу:

— Ребята, яблоки поспели!

— Где, где?

— А вон, гляньте!

И впрямь, вся береза под окнами от верхней ветки до нижней усыпана красными яблоками. Веточки тихо покачиваются. Одно яблочко слетело, за ним второе, третье...

Солнце зимнее низенько. Кажется, что и оно в ветвях березки запуталось и вместе с яблоками на ветку примостилось.

Савелий кисть в руки — и за дело.

Вот березка под кистью обозначилась; на ней клетка с золотыми спицами, а в клетке жар-птица на серебряной ветке, вокруг-то цветы лазоревые.

Выбежала в это время Беляна с ведрами на речку. Как вспорхнут те яблоки с березки — и в лес полетели.

— Эх, недогада-девица, подпортила ты все! — заворчал старик.

Долго-долго глядел он, как снегири с березки в лес полетели. Все ж таки жар-птица — рисуночек-то — в золотой клетке осталась.

Еще пуще возгорелись братья перенять это Савельево уменье.

На другое лето в тот же день, в тот же час опять белка с сучка на сучок под окно прискакала, а в лапке у нее опять береста баранчиком. Вот уж береста у Савелия в руках.

— Белка видела ваших отца с матерью. Живы они и здоровы. Пришла из богатого дома откуда-то сваха. Купец двух дочерей одумал замуж выдавать, большое приданое сулит. Отец с матерью хотят стребовать вас домой да женить. Решайте, думайте. Или со стариком Савелием сидеть да на кисти глядеть, или же рядом с молодой женой.

Братья и призадумываться не стали. Ради мастерства на третью зиму остались. В этот год Савелий обещал им в последний день показать самое трудное: как доводить ларцы до

золотого блеску, до солнечного сияния.

На третье-то лето в погожий день захотелось Савелию повеселиться. Сели они за дубовый стол, в кленовые ковши резные меду налили — не больно богатый, но веселый пир затеяли. Палею и Люлеху — равная мера. Угостились да под нарядные наличники высыпали. Старший-то сын Савелия — со свирелью на пенек, а другой сын гусли на колени положил да давай подыгрывать.

Разошелся, разгулялся Савелий. Лапотками новыми да как притопнет да пальцами как прищелкнет! А молодые-то за руки взялись и пошли откалывать, притопывать да в ладоши прихлопывать. Чернявушка-то с Палеем пляшет, а Беляна-то с Люлехом.

Пляшут, веселятся. Вдруг видит Савелий — над головой, на тоненьком сучке, — белка, в лапке у нее береста трубочкой. Взял Савелий бересту, развернул, глянул — и черней ночи стал: куда хмель, куда веселье делись. Палею с Люлехом грустно так молвит:

— Знать, не судьба вам, ребяташки, умелинкой моей владеть. Домой собирайтесь. Белка весть принесла. Были в вашем месте воеводские слуги — решетчатые головы, за данью приезжали. Отца с матерью плетьюм исхлестали. Лежат отец с матерью при смерти в избе, одинокие, всеми забытые.

Белянушка с Чернявушкой, как цветы по осени, так и поникли, в клеть убежали, плачут. Палей с Люлехом в печали-грусти. И за родителей-то больно, и на мучителей-то гнев кипит в душе, и уходить до заветного часа горько. Сердце у обоих разрывается. Да и еще зацепка немалая — Чернявушка с Белянушкой остаются здесь. Не знают братья, что и делать: всю ночь глаз не сомкнули.

Утром входят в горницу, а Савелий уж сидит над ларцом, шлифует его, от ларца золотые искры — снопами. Поклонились они Савелию в ноги, за все хорошее спасибо сказали. Стали с Чернявушкой и Белянушкой прощаться — белый свет помутился. У девушек на глазах слезы, и Савелий сидит хмурый.

— Может, скажешь все-таки, дядя Савелий, последнюю тайну? — просит Палей.

— Нет, братцы, всему свой срок. Если и скажу, так и не поймете, не запомните — потому час этот еще не пришел.

— Ну и на том спасибо тебе, дядя Савелий. Мы уж пойдем...

— Не препятствую, — говорит Савелий. — Вестимо дело, умелинка в работе дорога, а отец с матерью еще дороже. Если ты прилежный, умелинку наживешь. Человеку и с маленькой умелинкой жить лучше, чем с большой безделинкой! — засмеялся Савелий.

Но и до маленькой хорошей умелинки дорога длинная. Не в день, не в два тонкой рисовочке научишься. Терпенье да труд нужны. Художество усидчивость да прилежность любит.

Не помнят, как они через порог переступили. Чернявушка с Белянушкой их за ручей далеко проводили. Распрощались.

Пошли Палей с Люлехом по зеленому берегу, идут да все оглядываются...

Долго пробирались Палей с Люлехом лесными тропинками. Плот связали, по реке плыли, наконец добрались до дому. Так отец с матерью обрадовались, что и словами не сказать!

— Где это вы, сынки, столько времени пропадали?

— За маленькой умелинкой охотились, — сказал Палей.

— Ну, и поймали ее? — Отец спрашивает. — Это белка, что ли, какая?

— Нет, это не белка, это — мастерство, художество.

Рассказали они отцу с матерью о Савелии.

Дров нарубили, домой навозили, помогли рожь обмолотить. Тут и отцу с матерью стало получше.

Уж зима в окна глядит.

Затосковали Палей и Люлех по умелинке. А как зеленая земля снова солнцу открылась, отпросились они у отца с матерью опять к Савелию.

— Так что идите, — говорит отец. — Только уж эту умелинку приносите с собой — хоть погляжу на нее.

— Непременно принесем! Тятя, а если нам еще три года придется дожидаться ее? — спрашивает Палей.

— Дожидайтесь, — соглашается отец. — У всякого дела есть свой корешок, своя глубинка. Раз уж это дело вам полюбилось, то добирайтесь до самого корешка.

Сыновья пожелали отцу с матерью доброго здоровья, а сами — в дальний путь.

Шли, шли, на знакомую полянку вышли. Вон и дом приметный. Савелий спит в сенцах. Вдруг слышит он — кто-то шастит на крыльце.

— Кто тут?

— Да это мы, Палейка с Люлешкой... Мы за умелинкой...

— Вот и славно! Будет вам умелинка маленька, найдется и смекалинка, — встречает их Савелий, — но не сразу.

Остались они у Савелия. Золотой рисовке стали учиться, хитрость светлого лака разгадывать. Ну, и резьбой разных вещиц укрепляли руку. Золотые наперстки так и не сходят у них с пальцев.

Савелий дает Палею и Люлеху последнюю задачу:

— Ты, Палей, сделай такую рисовку: медведь по малину собрался. А ты, Люлех, обозначь мне, как волк с ягненком встретился у ручейка. Понятно?

— Понятно! Это мы в два счета сделаем! — отвечают оба.

— Вперед не загадывайте! Хорошо, если к весне справитесь с этой задачкой, — сказал Савелий.

Палей и Люлех взялись за кисти. А Савелий присматривает за молодыми руками. Каждый день дает сто поправочек. Чем больше Палей и Люлех стараются, тем труднее им становится. Только трудность-то эта со сладким привкусом — никогда не надоест. Кажется, на что проще ягоду малиновую нарисовать, но вот ты найди из тысячи одну такую, чтобы всем ягодам была ягода! Иль взять ягненка у ручья! А вот ты так его поверни, чтобы картинка без слов сама все сказала о себе.

Месяц прошел. Палей показывает свой ларец Савелию:

— Как, дядя Савелий, заметна ли умелинка?

— Пока что мало заметна...

— Что же я пропустил? — поник Палей.

— Это уж сам догадайся. Ягода-малинка красна, да не сочна, вялая какая-то. За такой едва ли придет медведь. Да и медведь-то не поймешь зачем в малинник прибрел, — наставляет Савелий.

Стал Палей сочную ягоду искать кисточкой. А Люлех показывает свой ларец:

— Дядя Савелий, а на моем ларце заметна ли умелинка?

— Пока не вижу живой умелинки. Что это за ручеек? Журчит он или спит? Нет, ягненок и волк так не встречаются. Больно уж у ягненка глаза страшны, а у волка слишком ласковы, — показывает Савелий.

— А и правда, дядя Савелий... Как же это я сам не догадался?

— Ты нарисуй такого ягненка, чтобы живой волк его искал, — требует наставник.

Еще месяц прошел. Куда получше стало художество на ларцах: рисовкой краше, тоньше и красками богаче.

— Дядя Савелий, ну как теперь ягода малинка, сочна? — Палей показывает свой ларец.

— И красна и сочна, а вот что она вкусна — этого еще не видно. А медведь-то, видишь, как на нее зарится. Значит, эта ягода должна быть еще привлекательнее, — сказал Савелий.

— Чего же не хватает?

— А вот чего не вижу, что она теплая, солнцем согретая.

— Разве кистью это можно передать? — удивился Палей.

— Попытайся... Ты ее не только краской согревай, но и смекалкой, — подсказывает учитель.

Снова Палей — за свой ларец. А Люлех ставит на стол свой:

— Теперь, кажись, у меня здорово получилось?

— Здорово, да не очень, — говорит Савелий, сам повертывает ларец и так и этак. — Совсем не видно, что ягненок в жаркий день вышел напиться к ручью.

— А где же жару-то взять? Жара у солнца, — усмехается Люлех.

— Не только у солнца. Жара есть и в краске. Ты вот так ее положи, чтобы я видел, что дело было, допустим, в страду, — наставляет старик.

Люлех покачал головой, начал все сызнова. Теперь он понял, что значит не любить безделинку, а любить умелинку. Но умелинка не мотылек, сама не прилетит.

По весне — радость Палею и Люлеху. Взял Савелий Палея ларец, похвалил работу:

— Вот это так! Теперь ягода малинка и красна, и сочна, и вкусна! И видно, чем она медведя завлекла. Не только с цветом, но и с хорошим запахом удалась, Палей, тебе ягода. А медведь точь-в-точь такой, какой приходил вчера к нам на пчельник.

Подошел Савелий ко второму ларцу да и погладил волосы Люлеху:

— Вот это ручей! И ягненок теперь на месте... Верно подметил: капельки у него с губы падают, и кружочки бегут по воде... И волк настоящий разбойник, точь-в-точь такой утащил у нас козленка.

Открыли окна, выставили ларцы на подоконник — посушить на солнце. Савелий, Палей и Люлех сидят в избе.

Идет мимо избы медведь с седым пятном на лбу, глянул на окно, остановился. Видит, его маленький братишка — косолапый мишка малину собирает. Да такая малина, что у большого живого медведя потекли слюнки.

— Глядите: медведь под окном, — шепнул Люлех.

Палей скорее за аркан. Медведь встал на задние лапы, тянется к малине; ягода его к себе манит, да не сорвешь ее... Тут медведя и заарканили, на цепь привязали в сарае.

На другой день мимо окон волчище — рыжий бочище бежит: увидел он, как на ларце его меньшей брат с белым ягненком беседует, остановился, зубами щелкнул, глаза загорелись:

«Я вчера такого съел... И этого съем, отниму у глупого волчонка!»

Люлех скорее за аркан. Волк встал на задние лапы, силится ягненка схватить. Накинули на волка аркан, на цепь — и в сарай.

Вот и пришел день, когда главная хитринка художества перешла в их руки. Смастерили они еще по ларцу — поглядеть любо-дорого! Просят Савелия: скажи, мол, нам свое слово.

А он глянул на их работу, глаза загорелись у старика:

— Ребята вы мои, ребяташки! Не зря я вас учил. Теперь вы самую главную умелинку поймали. Кисти при вас, клык медвежий тоже, вся моя тайна с вами. Ступайте восвояси. А свататься вздумаете — приезжайте, да след к беглому Савелию воеводским псам не указывайте. Белянужка с Чернявушкой вас ждать будут.

Напоил, накормил братьев Савелий, хлеба им запас в путь-дорогу дал.

Вывели из сарая медведя и волка. Что с ними делать?

— За проступки следовало с вас обоих теплые шубы снять, — говорит лесным зверям Савелий. — Ну, так и быть, искупите свою вину: везите Палея и Люлеха на родину, к ним в село. Да слушайтесь же!

Сел Палей на медведя. Люлех — на волка. В котомках у них и ларцы, и кисти, и краски. Покатили. Хворост трещит, волк — ноги, благо, длинные — перескакивает через валежины, еле поспекает за ним ленивый медведь.

Волк замышляет: «В чашу Люлеха завезу, может, со спины стрясу, там его и съем...» Но не тут-то было, не такой седок попал: Люлеха и Палея не обманешь.

Долго ехали Палей и Люлех — и под дождем мокли и под солнцем сохли. Добрались наконец.

Глянули — и места родного не узнали. И так-то селенье было не селенье, а тут уж осталось всего ничего. Одна родительская изба стоит на пригорке — ни окон в ней, ни дверей, и на

месте остальных изб зола да пепел.

— Где ж народ-то наш? Что тут было, пока мы пропадали?

Посидели Палей с Люлехом у разбитой избы, пошли бережком вдоль реки. Зеленый бугор травой порос, березка над ним на тонкой ножке стоит. Под березкой — камень-дикарек, под камнем — жестянка. Глянули они в жестянку, а в ней грамота.

В грамоте написано: лежат-де под этим бугорком Елисей с Охромеевной, по весне ханы-баскаки били их прелюто, и соседей тоже. Схоронили их соседи, а сами тайное пристанище искать ушли, домишки свои огню предали.

Погоревали над могилою сыновья. Стали думать, что же теперь делать? Уходить ли отсель, здесь ли оставаться?

Сердце-то не велит уходить. И край-то свой им дорог, да и отец с матерью здесь лежат. Решили они остаться. Делить свое богатство стали:

— Вот тебе, Палей, горка зеленая.

— А тебе, Люлех, речка чистая, — отвечает Палей.

После-то, видишь, так и стали называть эту речку Люлехом, а село на зеленой горке Палеем, только воеводский писец, когда в книгу писал, перепутал букву, с той поры и пошло название — Палех.

Погрустили Палей и Люлех о родителях. Но не век же кручиниться. Живой о живом думает.

Сняли с медведя и волка теплые шубы. Избенку обиходили. А потом решили и кисти попытать, правда ли главную умелинку свою передал им Савелий.

Обрадовались братцы: ладно у них получается — что цветы, что узоры. И блеск и сияние ларцам умеют дать.

Взяли они себе в жены Белянушку и с Чернявушкой. Стали жить по-доброму, по-хорошему.

Еще семьи три набеглых в селенье пришли, построились. И те все приохотились к ремеслу братьев.

Вот от того корня, говорят, палехский лазоревый куст и расцвел. И теперь, коли какого палехского с золотым ногтем в их светлой мастерской увидишь, так и знай: это, может, десятое колено от Палея и Люлеха.

С. АФОНЬШИН

Сказ о счастливой подкове

В славном да Великом Новгороде при Волхве-реке жил кузнец Скоромысло, смекалистая голова, сноровистые руки. Жил — не горевал, землякам-новгородцам железо ковал, кому что надо: торговым людям весы да запоры, ратникам — мечи да копья, а ратаям — сошники да

орала. Никакое дело от рук Скоромысла не отбивалось, заморские гости и те знали к нему дорогу. Три молодца-сына отцу в кузнечном деле помогали, всякую вещь на славу ковали, чтобы люди довольны были.

Свое ремесло кузнечное Скоромысло широко повел, железо и медь у боярина Мирошкиныча покупал, а иной раз и под запись брал. А займодавец-боярин все кузнецовы долги на особой доске записывал и пеню-проценты к ним присчитывал. И росли долги кузнеца на деревянной доске, как тесто на хмельной опаре. Только скопит деньги, чтобы с боярином расквитаться, хватить — долги к тому часу втрое выросли! Вот так и попал честной кузнец в кабалу к боярину. Начал займодавец старого кузнеца стращать: либо в долговой яме с железом на шее сидеть, либо работать на боярина без срока, без отдыха, ковать кандалы и цепи железные на строптивых новгородцев, на молодцов из вольницы.

Как поведал Скоромысло сыновьям о своей беде, стукнули молодцы-кузнецы по наковальням молотами тяжелыми и молвили:

— Не бывать тому, чтобы честной старик, наш отец родной, с железом на шее у Мирошкинычей в яме сидел! Не ковать нам кандалы да цепи на несчастных людей в угоду займодавцу-боярину!

Подговорили кузнецы своих дружков из вольных ушкуйников, пособрали инструмент кузнечный, баб да ребятишек да и пропали из Новгорода темной ночью, словно в воду Волхова канули. Через леса и болота, речками и озерами, а где и посуху, волоком, добрались кузнецы с ушкуйниками до истоков великой русской реки и с великим трудом на широкое русло выплыли. Тут распрощались кузнецы-новгородцы с дружками из вольницы и на трех ушкях вниз по Волге поплыли.

В конце весны причалили ко граду Раадилову три ушкья загруженные, с народом старым и молодым, с бабами и ребятишками. Княжья стража к ним навстречу повысыпала, окружила и доведываться начала, кто да откуда. Самый старый из ушкуйников таково сказал, что плывут от самого Новгорода с Волхва-реки, а об остальном только самому князю поведает. Удивились княжьи люди-стражники:

— Вот лютой какой, с князем говорить захотел! А как ты да лихо задумал?

— Али вы басурманы какие, что русских людей до своего князя не допускаете? — ответил старый новгородец.

Потолковали между собой дружинники, окружили кузнецов с бабами и детками и на княжий двор привели, за стену частокольную, за ворота дубовые, железом кованные. Вышел на резное крыльцо терема сам князь Юрий Всеволодович, гостей окинул взглядом пытливым. Тут старый Скоромысло вперед шагнул, низенько князю поклонился и о своей беде рассказал. А закончил словом таким: «Не поднялась рука ковать железа на братьев-новгородцев, хотим ковать мечи и шеломы для твоих воинов!»

Приметил князь, что старый кузнец, разговаривая, изредка головой кивал, словно носом клевал или шапку-невидимку с затылка на лоб стряхивал. И спросил по-доброму:

— А отчего ты, старик, головой, словно дятел, долбишь?

В ответ широко, от души улыбнулся старик:

— А я Дятел и есть! За привычку головой кивать сызмала так прозвали. Скоромысло по имени, Дятел по прозвищу. И все племя мое — детки со внучатами — Дятлами прозваны! Нет у нас, князь, ни кубков золотых, ни ковшей заморских серебряных, ни мечей булатных дамаскинских. Но привез я тебе из Новгорода дар диковинный.

С теми словами достал кузнец из кожаной сумы подкову конскую, в походах досветла избитую, и к ногам князя положил.

— Мы, новгородцы, от заморских гостей приметку переняли: кто подкову найдет, тому счастье само придет, кому подкову дарят, тому счастье в руки ввалит, удачу в жизни сулят!

Поднял Юрий Всеволодович подкову дареную, оглядел всю семью Скоромыслову и позадумался. Потом такое сказал:

— Невыгодно мне вас здесь на житье оставлять. Да и вам тут, после жизни новгородской, тесно покажется. Но поселю тебя, старый Дятел, на таком приволье, что князем будешь жить. Заморского вина вам не пивать, в шелках своих баб не одевать, но житье будет вольготнее княжеского. Живут там рыбаки, монахи да пахари, деревянными оралами землю ковыряют, голыми руками жито с поля убирают, на костяные крюки осетров ловят, а железный гвоздь да топор для них дороже золотого ковша! Будешь там жить и ковать и ремеслом своим мне, твоему князю, служить. А железом и милостью я тебя не забуду!

В тот же день кузнецы Дятлы с княжескими провожатыми вниз по Волге поплыли до диких лохматых гор, под которыми Ока в Волгу вливалась. Тут бывалые князьи люди место для причала выбрали и высадили семью Скоромыслову при устье ручья, что промеж гор по оврагу бойко бежал. Огляделись Дятлы и начали строиться да обживать. На помощь коренные жители пришли — и Русь, и мордва, и черемисы с той стороны. Помогали и словом добрым, толковым, и работой спорой. Оправдались слова князя Юрия, что кузнецам напоследок сказал: «С русскими уживайтесь и мордвой не гнушайтесь. С мордвой брататься да кумиться грех, зато лучше всех! А у черемис только онучки черные, а совесть белая!»

Скоро появились на склоне горы над ручьем новые просторные избы с крохотными оконцами, а ближе к воде — кузницы. И ожили дикие берега при слиянии двух могучих рек. Пылающие горнила кузниц манили к себе людей, как маяки, и со всех сторон потянулись люди к поселению новгородца Скоромысла. А старый Дятел и его сыновья стемна дотемна ковали и ковали все, что на потребу было русскому, мордвину, черемису-заволжанину: мечи и орала, копы и медвежьи рогатины, топоры и остроги, подковы и гвозди. И прошла о Дятловых кузнецах великая слава вверх по Оке и в оба конца Волги Великой.

Дремучие горы днем хмуро вековыми деревьями зеленели, а по ночам сверкали пылающими горнилами кузниц. И дивился народ радостно: «Куют и коуют наши Дятлы, рано встают, поздно ложатся и устали не знают!» А когда волжские болгары Русь и мордву грабежами на полночь потеснили, кузнецам спать и вовсе некогда стало. Побросавши жилье и добро, бежал народ от болгар к Оке, новые места обживать и у Дятловых кузниц по горам, как пчелы вокруг матки, селиться и роиться начали.

И первым делом в кузницу, ковать топор и мотыгу, острогу да рогатину. Кузнечихи Скоромысловы тоже сложа руки не сидели. Научили они русских и мордовских баб заморские кружева плести, цветные узоры по одежке вышивать, шерстяные рубахи-подкольчужницы вязать. Вольготно зажили кузнецы Дятловы, часто добрым словом князя Юрия вспоминали.

А для князя Юрия Всеволодовича с того дня, как Скоромысло ему подкову на счастье поднес, сплошные удачи начались. Поначалу в Суздаль на княжение перебрался, а потом великим князем стал. Дареную подкову князь над порогом терема прибил и Скоромысла не забывал. Как узнал он, что болгары приволжский народ зорят и новым походом грозят, послал по Оке челны с железом и людей с наказом, чтобы наковали кузнецы подков и подковных гвоздей на княжий полк. И только успели Дятлы тот наказ выполнить, как от Владимира походом на болгар дружина пошла во главе со Святославом, братом князя великого. На устье Оки остановился Святослав, от пыли отряхнуться, доспехи поправить, коней перековать. Позвал князь к своему шатру всех кузнецов рода Скоромыслова и спрашивает:

— Можете ли, хватит ли вашей силушки мой полк заново перековать, боевым коням копыта подровнять, старые подковы на новые сменить?

В ответ ухмыльнулся старый Дятел хитро таково:

— На то мы и кузнецы. Кто чего заслужил, тому так и сделаем!

И тут же кузнецы за дело взялись. Не заводя в станок, с колена лихих коней ковали, сами работали и воинам показом помогали! Потом как пошла Святославова рать на болгар, кони гололедь в брызги разбивали, из камней огонь высекали, вражьи коней острыми подковами разили. Разбил, разогнал Святослав вражью рать по чистому полю. После того болгары миру запросили, много добра уплатили и зареклись Русь и мордву обижать. Княжья дружина домой ко Владимиру поворотила с победой, а кузнецы Дятлы опять за мирную работу взялись, железо ковали, кому что надо. Лето ли, два ли прошло, как вдруг нежданно-негаданно опять дружина пришла, со князем Юрием Всеволодовичем. Весь народ с гор спустился великого князя встречать, а впереди других кузнецы Дятлы с хлебом-солью на белой скатерти. Вот тут и сказал князь Юрий старому Скоромыслу слово приветливое:

— От подарка-подковы мне удача в делах и в жизни пошла. Мастерством своим помог ты, старик, дикий край оживить, заселить и диких болгар усмирить. А теперь помогай этот край от врагов на веки веков укрепить!

И поведал князь о том, что задумал он русское поселение на приволжских горах валом да крепостью обнести. В тот же день Юрий Всеволодович сам гору обошел, смотрел и указал, где башням быть, где крепость городить, рвы копать, валы насыпать. И зашумел народ вокруг Дятловых кузниц. Рады были люди, что их избы да клети будут городьбой обнесены, частоколом дубняка долговечного, и старались на постройке крепости изо всей силушки. А кузнецы Дятлы всю работу намертво железом скрепляли. От весны до весны прожил князь Юрий под новым градусом, доглядывал за постройкой вала и крепости с башнями на шесть углов из бревен дубовых. И, заложивши под конец на круче холма церковку, засобирался князь ко стольному граду своему Владимиру. Вот позвал Юрий Всеволодович к своему шатру всех кузнецов рода Скоромыслова, за стол княжеский пировать на прощанье и молвил Дятлу старому:

— Ну, старина, попрощаемся! Ты мне подкову на счастье поднес, а я тебе на горе подкову выстроил!

И кивнул князь на городьбу с башнями. Как глянули Дятлы на ограду кремля, видят — и вправду она подковой глядит. Повеселел князь, глядя, как кузнецы дивуются.

— Это тебе за подкову, кузнец, целый Юрьев-град! Доволен ли?

Ничего не ответил старый Дятел, но задумался. Потом молвил не торопясь, раздумывая:

— Не надо, князь, града Юрьева. Не называй его своим именем. Придет супостат, покорит, разорит, над твоим именем насмеется, своим назовет. А нареки ты наш град Новгородом, будет счастливое имя и долговечное!

Тут князю Юрию Всеволодовичу пришла очередь призадуматься. Но скоро он дело смекнул и сказал:

— От тебя, старик, не только удача да счастье — и советы идут толковые. Быть граду Новгородом, а старому Дятлу в нем заместо моего воеводы и посадника!

Дремали под небом и солнцем суровые горы, в Оку да Волгу как в зеркало гляделись, словно любовались новым венцом-подковой, что чело их венчала. Дозорные воины с башен из-под

руки во все стороны зорко глядели. Новград от ворогов стерегли. А в деревянной церковке на темени горы божьи слуги молитву Михаилу-архангелу возносили, покровителю воинства православного. И с каждым годом росло население за стеной кремля и в посадах вокруг города. Булгары на Каме-реке смирно жили, издалека чувствуя сильную руку князя Юрия, мордва заодно с русским людом поближе к Новому граду теснилась, русскую веру и обычаи перенимала. Да и с левой стороны Оки народу не страшно стало на правый берег переселиться. Поредели вековые леса, кругом города поля распахивались, посадки и деревни выросли, торговля и промыслы бойко пошли. Стучали, гремели, огнями сверкали Дятловы кузницы, поспевая людям служить: немало понадобилось новых сошников и топоров, копий и рогатин, подков и гвоздей. Старый Дятел от молодых кузнецов в работе старался не отставать, но и по граду пройти не забывал, крепость и посадки хозяйским оком окинуть. А кремль на старика исполинской подковой глядел и князя Юрия забывать не велел.

Так прошло немало лет. Старый кузнец поседел, в кузницах его сыновья да внуки наперебой молотками стучали, а Новгород земли низовской мужал и богател на радость жителям и князю Юрию.

Но, видно, подкова счастья над порогом княжьего терема вдруг служить отказалась, и пришла на Русь Суздальскую беда нечаянная, неминуемая. Доплеснулась волна татарская и до Дятловых гор, поразметала стены частокольные и в кремль-подкову ворвалась. Похватили монголы-воины кузнецов, окружили и к своему хану Чалымбеку привели. И приказал тот Чалымбек, чтобы кузнецы Дятлы без сна, без отдыха подковы да гвозди для татарской конницы ковали. Да потребовал еще с каждой живой души по паре подков и дюжине подковных гвоздей. За это посулил хан города не зорить, не палить и людей не угонять, а кто подковами не откупится, тому татарских плетей и неволи не миновать. И поскакали монголы дальше, на заход солнышка, остатки Руси топтать, князей полонить.

А кузнецы Дятлы, не мешкая, принялись наказ хана исполнять. Старый Скоромысло по кузням ходил и всех учил, как подковы ковать и шипы наваривать, чтобы недолго служили, скоро разлетались. Да еще словом и делом показывал сыновьям и внукам, как умеючи подковные гвозди ковать и затачивать. Со всех сторон к Дятловым горам народ повалил, несли люди последние топоры на подковы переделывать, чтобы было чем от неволи и плетей откупиться. И ковали кузнецы-молодцы и подковы и гвозди, никому не отказывая, так, как их старый Дятел учил.

Порыскавши по низовской земле, монголы у Дятловых гор станом на отдых стали, коней на новые подковы перековали и снова на Русь ринулись, на князя Юрия. Но конница татарская в пути вдруг хромать начала, редела и таяла. А когда до битвы дело дошло, подковы на части разлетались и копыта коней калечили. И разбил Юрий Всеволодович рать Чалымбекову, как сокол ясный стаю серых ворон. Собрал Чалымбек остатки своего войска, отступил и послал гонцов к хану Бурундаю за помощью. Разоривши Владимир-град, подвалил Бурундай и силой ратной, как тучей темной, окружил рать суздальскую с одной стороны, а Чалымбек с другой. Тут и полегла дружина княжеская в сече жестокой, а с ней и сам князь Юрий Всеволодович.

Три дня пировали татары после победы на Сити-реке, победой и зверством своим похваляясь. Потом перековали всех коней на новые подковы, что с русских людей собрали, и пошли на Великий Новгород. Пошли, да недалеко ушли. Опять стали подковы на части разлетаться, разваливаться, кони захромали, обезножели, и повернула вспять вся великая рать Бурундая.

Загоревал, запечалился старый Дятел, когда узнал о гибели Юрия Всеволодовича, но воспрянул духом при вести о том, что татары не пошли к Великому Новгороду из-за хромоты, напавшей на басурманских коней. А хан Бурундай с Чалымбеком догадались, отчего на их конницу беда навалилась. Созвали на совет самых старых да бывалых воинов-соратников Чингисхановых, копыта коней ощупывали, подковы да подковные гвозди разглядывали,

ругались, гадали да спорили. И рассудили, разгадали дело трудное:

— Эти кузнецы из града на диких горах — колдуны русские. Видно, ковали они в час полуночный, призывая всех духов злых на погибель нашей конницы!

И послали к Новгороду низовскому отряд самых свирепых воинов — с лихими кузнецами расправиться. Вот прискакали басурманы, от славянской крови озверевшие, в осиротевший град ворвались, все племя Скоромыслово похватали, по рукам и ногам связали. И рано поутру, когда из-за Волги только что солнышко выглянуло, пленников на взлобок холма вывели. Сначала старого Дятла головорезы наособо поставили и дознаваться начали, почто и каким колдовством они, кузнецы, зловредные подковы для монгольской рати ковали, много ли еще таких подков понаделано и куда отправлено. На то старый кузнец за всех отвечал:

— Слыхано от дедов-прадедов, что с Олегом в походы хаживали: «Подкова — коню не обнова, да в бою страшнее палицы. Как подковать, так и воевать!» Вот и мы вас, кровожадных псов, подковали на все четыре ноги, да так, как душа подсказывала! И с каждым часом и днем все тошнее и труднее будет вам по Руси скакать, нашу землю топтать!

Тут главный злодей саблей взмахнул. И покатила голова старого Дятла с горы в овраг, к порогу кузницы. Поотрубали татары всем кузнецам головы, а хоронить заказали, чтобы нижегородский народ утратить. Но в первую же ночь смелые люди всех погибших тайно похоронили, дерном прикрыли, только холмы не насыпали да кресты не поставили, чтобы басурманы о том не ведали. Так и теперь никто не знает, где те кузнецы-молодцы со старым Дятлом похоронены.

На долгие годы притихли Дятловы горы и кузницы. Сменялись князья и поколения нижегородцев, не один раз перестраивались и подновлялись стены и башни кремля. Но и сегодня этот каменный старец по форме своей напоминает огромную подкову, олицетворяя смекалку, силу и мужество народа русского.

Сказ о башне Белокаменной

В то лето, как великий князь московский задумал Нижний Новгород кругом каменной стеной обнести, томилась в нижегородских темницах молодцы-удальцы из новгородских ушкуйников, а с ними их земляк Данило Волховец. Совсем молодым пареньком он в Новгороде Великом на возведении детинца трудился — камни тесал, кирпичи подносил, известь месил. Да и мастером стал. А когда детинец построили, другие ремесла от заморских мастеров перенял и стал искусником на всякую руку — и меч выковать, и колокол отлить, палаты каменные выстроить, и судно морское починить заново. И такой тот Данило Волховец был толковый да памятный, что перенял говор заморских гостей, что в Новгород по торговым делам наезжали.

Вдруг в жизни Волховцу перемена вышла. Решился он с новгородскими ушкуйниками на Волгу податься, на вольный свет поглядеть, другую жизнь повидать. Ушкуйники люди верные, но отчаянные головушки, с ними подружиться — все одно что в «орлянку» сыграть: либо «орел», либо плата-расплата! Так и у Волховца получилось. Попались они в цепкие лапы стражи княжеской и очутились в темницах Нижня Новгорода. Чуть не год сидели в застенках молодцы-удальцы, солнышка не видели, жаждой, голодом мучались. Ладно, что добрые люди сквозь решетки бросали им подаяние. Но одним солнечным днем распахнулись двери тяжелые, и всех узников из темниц на волю кликнули:

— Эй, вылезай на свет, кровь разбойная!

Высыпали из башни каменной изнуренные новгородцы и пошли за стражей на горы высокие копать рвы глубокие, камни тесать, кирпичи таскать, стены крепостные выкладывать и башни под самые небеса поднимать. Скоро смекнул воевода Волынец, слуга князя великого, что напрасно новгородских молодцов в застенках держали, давно бы их к делу крепостному приставить, такие они сноровистые да ловкие в работе были! А первым среди них — Данило Волховец. И посулил воевода всех новгородцев за отменную работу на волю отпустить, а Волховца поставил главным мастером над всей ватагой каменщиков.

Не одно лето трудились новгородцы рука об руку с коренными нижегородцами. Крепко-накрепко строили, не простой кладкой, а крестовую, а известь так хитро да умело гасили, что схватывала камень против врагов. Знали и умели люди русские, как кремль против врагов строить: неспешно да надежно, на веки веков! Вот и показалось князю великому Василию, что нижегородская крепость строится мешкотно. И послал он в Нижний Новгород искусника и мастера по крепостям итальянца Петруху Франческо с помощником Джовани Татти. Оба прибыли разряжены по-заморскому, в шапочках диковинных, в плащах-накидушках и при шпагах, как настоящие воины. Мастер Петро Франческо всем русским по нраву пришелся, сразу угадали в нем человека великого духа и мастерства. А помощник его, Джовани Татти, был настоящий головорез, заморский хвостун и задира. Чуть что — и за шпажонку свою хватался, на ссору, на драку напрашивался. В крепостном деле только понаслышке смекал, а своими руками и одного кирпича не вкладывал. И за все его проделки и выверты переделали русские люди имя Джовани Татти на свой русский лад — «Жеваный Тать».

Начал было распоряжаться этот разбойник Жеваный Тать над артелью новгородцев, приказывал класть крепость не крестовой кладкой, а простой, чтобы скорее дело шло. Вот и стали рассуждать между собой русские мастера каменщики, что кремль нижегородский строили: «Доколе будем терпеть ругань да понукание в убыток Руси и Нижню Новгороду? Некрепко крепость класть — в беду попасть! У иноземных мастеров одна заботушка — поскорее мощну набить и за море уплыть. А нам перед всей Русью ответ держать!»

Знал Данила Волховец, что правду говорят мастера-нижегородцы. Не раз слышал он, как Джовани Татти уговаривал Франческо крепостные дела торопить и восвояси домой спешить. Вот выбрал Данила время, когда воевода Волынец с Петром Франческо вместе мимо проходили, и рассказал им о недовольстве мастеров-нижегородцев. А Петруха Франческо и сам заметил, что нижегородцы да новгородцы и без подсказки и указки надежно и умело крепость кладут. Особо отличал он Данилу Волховца и часто маэстром называл-величал, это по-иноземному, а по-русски сказать — искусник и умелец большой. Вот после того и приказал он своему помощнику Татти: «Не неволь русских по нашему способу стену класть. Их кладка крестовая чуть помешкотней, зато долговечнее!»

Воевода Волынец в тот раз с Данилой тоже ласково обошелся, и опять посулил всех новгородцев вольно поселить в любом посаде Нижня Новгорода, как только закончат постройку крепости. А тальяшка, этот Жеваный Тать, после того еще злей стал придирается к русским каменщикам, и особо к мастеру Даниле Волховцу.

Жила в ту пору на верхнем посаде одна девка-краса, темные глаза, толстые косы, а улыбнется — словно бутон розовый раскроется. По имени звали Настасьей, а прозывали «Горожаночкой», лет ей за двадцать перевалило, но замуж что-то не торопилась и отшучивалась:

— Милый не берет, а за немилого сама не иду — не миновать вековушей быть!

Жила своим домиком, с матушкой родной, честным трудом. Частенько она по горе за водой спускалась, и каждый раз ей молодцы-каменщики с крепости подмигивали, ягодкой называли, на стену зазывали. Только ягодка, видно, не промах была, отвечала бойко, но по-умному. Сам

Петро Франческо на ту Горожаночку заглядывался, шапочку на лысине поправлял, усы крутил, завивал и, за шпагу держась, как журавель по стене выхаживал. А подручный его Жеваный Тать, завидев Настасью, добрым притворялся и рожу свою идолу старался подделывать под ангельскую. Не знали, не ведали они, дурачки заморские, да и никто другой не догадывался, что не зря Настасья Горожаночка мимо стен часто ходила, ватагу трудовую водой поила. Давным-давно через решетку темницы она с Данилой Волховцем добрым словом перемолвилась. «Добьюсь воли — назову женошкой!» — так ей Данило однажды из окна темницы сказал. А теперь, не жалея сил, служил он князю московскому, надеясь дожить до обещанной воли. Молодецкая артель новгородская ничем перед девкой не бахвалилась и не охальничала, а, завидев ее, песни заводила и под песню крепость строила — камни тесала, тяжести поднимала:

Ай, ладушка, Горожаночка,

Не жаль для такой полушалочка!

Ай, ладушка, пожалей молодца —

Не жаль для такой золотого кольца!

Краса-молода, откуда вода?

Чай, с Почайны ручья, нам напиться бы!

Али с Волги-реки, так умыться бы!

С такой песней и камень легче казался, и с ношей кирпичей веселее бежалось, и крепость быстрее росла. Как пройдет мимо Настя Горожаночка — словно солнышко всех пригреет, и каждому горемыке-труженику казалось, что это ему она так радостно и по-родному улыбнулась.

Трудились люди русские на нижегородской крепости почти без сна и отдыха, подвозили кирпичи каленые, как кровь багряные, а в ямах кипела, пузырилась известь горячая, набирая силушки, чтобы камень и кирпич схватить мертвой хваткой. Согнувшись под ношами, вбегали на стену сотни людей и, сваливши груз, обратно скатывались. А ловчее, быстрее и крепче всех работали молодцы из ватаги Данилы Волховца, зарабатывая милость княжескую — волюшку вольну! Сам Петро Франческо, маэстро великий, не мог надивиться на мастерство и неутомимость артели новгородской, и наполнялось его сердце уважением к русскому мастеру. «Таких поучать не надо — сами любого научат!» А помощник его, этот Жеваный Тать, все придирался и подгонял, очень хотелось ему поскорее золотом кошню набить и за море удрать. Особо невзлюбил он ватагу новгородцев после того, как они его на безлюдье окружили и посулили в горячей извести выкупать, если не перестанет докучать Настасья Горожаночке.

А матушка Волга катилась и катилась, неудержимо, как время, волной играла, по утрам солнце с левого берега принимала, по вечерам за правым, горным прятала. То стужу, то зной, то каргу-осень встречала, то весну-молодушку. А за весной и праздники весенние спешили. Ко дню праздника зачатия приурочили нижегородцы закладку сразу трех башен кремлевских: Бориса да Глеба, Зачатьевскую и Белокаменную да всей стены между ними. Выкопали котлованы и рвы, натесали камня белого, кирпича навозили гора горой, заварили известь в ямах глиняных. И в день непорочного зачатия все нижегородцы из молебен высыпали. Под колокольный звон из церквей иконы вынесли, а передом, на полотенцах льняных,

белоснежных, икону Богородицы. Все труженики кремля, простые люди и знатные, обнажили и склонили головы. Петро Франческо, мастер гордый и суровый, с непокрытой головой незаметно в сторонке стоял. Уважал он и народ и веру русскую, православную. Только Джовани Татти, этот безумный Жеваный Тать, не снимая шапочки, среди народа важно расхаживал, на православный обряд дивился.

Под конец моления стали нижегородцы нательные крестики снимать и на дно котлована бросать, чтобы стояли башни и стены кремля веки вечные, не поддавались вражьи осадом и приступам. Вот подошла к яме Настасья Горожаночка, расстегнула на груди пуговицы, сняла с шейки крестик золотенький и в котлован бросила. Тут откуда-то Жеваный Тать подвернулся, как угорь начал вокруг девки увиваться, обнимать, гляди того, целовать-миловать при народе начнет. Оторопела было Горожаночка, но скоро образумилась и наотмашь охальника по роже ладошкой ударила. Попятился от нее Джовани Татти да в яму и свалился, озорник заморский, на смех всему миру нижегородскому. Свалился, а выбраться никак не мог, злился и ругался по-иноземному: «О, Мадонна путана! О, путана Мадонна!»

Все видел и слышал Данила Волховец, и не стерпело сердце его. Подскочил он к яме, за руку Жеваного вытащил да тут же, не откладывая, ударил того по одной щеке, потом по другой, поучая уму да разуму: «По-вашему она путана, да по-нашему мать честная!» Стыдно стало Татти, что при народе по щекам бьют, и за шпагу схватился. Но Данила его за руки ловко поймал и, когда шпага вывалилась, в охапку супротивника сгреб. И тут от боли нестерпимой охнул новгородец, но приподнял злодея-тальяшку и в яму с кипящей известью бросил. А сам, как дуб подрубленный, медленно к земле склонился. Подбежали к яме люди — Джовани Татти вытаскивать, да не скоро достали. А Данила без дыхания лежал, с заморским ножом в подреберье.

Затужили, загоревали нижегородцы, заголосили, запричитали бабы. Настасья Горожаночка в сторонке стояла и платок свой в горячих слезах молча купала. Потускнел лицом главный мастер Петро Франческо. Жалел он земляка своего, Татти шалопутного, а еще больше печалился о русском мастере Даниле Волховце. Поговорили они с воеводой и распорядились, чтобы обоих смертоубийц в подбашенных котлованах захоронили.

Невесело разошелся с молебна народ нижегородский. Недобра примета при закладке башен получилась. Не устоять долго стенам кремля, что близко к Волге спускаются. Неохотно и каменщики за известь брались, в которой безбожный тальяшка сварился. Ватага Данилы Волховца молча работала, воздвигая башню-памятник над могилой своего товарища. Весь белый камень с берега Волги своими руками перенесли, известь по-своему в яме замесили и трудились неистово, не жалея себя. Трудно им было без песни выкладывать башню из каменных глыб, так и манило запеть, как бывало при жизни Волховца.

С каждым днем и часом прибывала, росла у Волги величавая суровая башня. Все остатки белого камня на нее израсходовали, и прозвал ее народ Белокаменной. А на полдень от нее из кирпича кроваво-багряного другая башня росла, Зачатьевская. Под ней охальник и хвостун тальяшка Тать лежал. Живые же люди, как муравушки, на стены карабкались, кирпичи, камень, известь тащили, стены лепили с верой великой, что простоят они веки вечные, никаким стихиям и бедам не покорные.

А Настасья Горожаночка не забывала своего Данилу Волховца, не затухала в ее сердце любовь к нему и ненависть к злодею Джовани Татти. Из года в год, в погоду и непогодь, каждый вечер она на откос выходила, к башне Белокаменной, и негромко свою песню пела. Налетавший с Волги ветер обнимал кремлевские стены, сердито гудел в бойницах, трепал полушалок и косы Горожаночки, но не успевал осушать ее слезы, не заглушал песни:

Горы хмурые, высокие,

Воды хладные, глубокие,
Сдвиньте к Волге стены тяжкие,
Что сокрыли ясна сокола!
Волга, реченька могучая,
Проложи русло под кручами,
Размечи струею быстрою
Прах злодея ненавистного!

И Волга, и Дятловы горы слушали ту песню, но молчали. Молчали до поры до времени, как судьба неисповедима, что всю правду жизни знает, да не скоро рассказывает. Спустя много лет, словно исполняя волю Горожаночки, подточили подземные воды склон горы вместе с крепостью и башней Зачатия, чтобы сползли они к Волге оползнем. А башню Белокаменную не тронули, оставили памятником над могилой мастера, сложившего крепость нижегородскую на веки вечные.

Про Семена-Ложкаря

1

По обширной и доброй земле бежала река, такая широкая и длинная, что люди, жившие по одну ее сторону, не знали обычаев населения другой стороны, а племена, обитавшие у истоков, не ведали, какие народы населяют земли в ее низовьях. От правого берега реки до теплых морей и высоких гор простирались владения грозного царя, его бояр и опричников, а на другом берегу был сосново-березовый край, ничейная и свободная земля под дремучими лесами. А жил на ней мастер-умелец по кленовой и березовой ложке, «Семен-Ложкарь» по прозвищу. С ним в соседях вокруг мордва, мещера да мурома, звероловы да хлеборобы русские, что с правого берега от ярма и неволи сюда попрятались. Жил Семен-Ложкарь в просторной черной избе над дикой лесной речкой Снахтой со своей Катериной и дочкой Авдоткой. Втроем успевали они делать ложки кленовые и березовые далеко на все стороны, да такие приглядные и ловкие, что люди тюрю с квасом, горох и кисель без масла и приправы хлебали да прихваливали! И пошла про Семена слава по лесам, городам и весям Поволжья, да, на его беду, дошла она до царской вотчины.

А грозный царь в ту пору в своей столице сидел, с боярами думу думал, с опричниками по церквам да монастырям молился, а между важными делами пировал и бражничал.

Вот один раз, натешившись пирами да молитвами, надумал грозный царь воевать сразу на три стороны — с крымским ханом, турецким султаном и ливонскими рыцарями и баронами. Людей в войсках у царя было много — пушкарей, и стрельцов, и конницы. Пушек да пищалей

на пушечном дворе понаделали, пороху, свинцу и ядер тоже вдосталь было. Всяких припасов в царских войсках хватало, вплоть до котлов, в которых воины кашу да похлебку варили. А вот ложек, коими русские люди испокон веку щи и кашу ели, у царя в запасе не было. В те времена простые люди, что жили вокруг царской столицы, в каждой семье сами для себя ложки выскабливали, а знатные люди — князья да бояре — серебряными ложками похлебку и всякое варево хлебали. Вот поэтому-то грозный царь и опростоволосился: войну начал сразу на три стороны, а ложек у воинов не было. А горячая еда да крепкая ложка в войне — не последнее дело!

Созвал тут грозный царь всех бояр и опричников и задачу им такую задал, чтобы не далее как к весне у каждого воина кроме оружия за каждым голенищем по ложке было, одна коренная, другая запасная. Чтобы бояре и верные псы-опричники веселее за это дело взялись, обещал царь того, кто дело скоро исполнит, чином отличить и наградить, а кто посулит, да не сделает, того на дыбе поневолить и в застенки упрятать.

Задумались бояре и опричники — дело это за длинным столом на царском пиру было. Но был среди них злой опричник Скирлибек. Вот и вызвался тот Скирлибек разузнать и разведать, в каком углу царства мастера-ложжари притаились.

В кабаке у столичной заставы зашли в ту ночь два бродяги Шиш и Ярыга, два друга. Исходили они Русь вдоль и поперек, на царской службе и кнута и дыбы отведали, а не остепенелись. Сидели они за столом, хмельное пили, севрюжиной закусывали и друг перед другом всякой всячиной похвалялись. Подсел к ним тут Скирлибек и стал допытываться, где бы ему мастеров-ложжарей для царя подыскать.

Ярыга и Шиш ответили, пусть, мол, боярин сначала кошельком потряхнет да хмельное поставит, а за оплатой дело не станет.

И сказали они Скирлибеку, как разыскать искусника и умельца Семена-Ложжаря в заволжских лесах.

Тут опричник Скирлибек мешкать не стал, кликнул своих слуг да друга Ваську Басмана. Оседлали они коней и поскакали из столицы по Владимирской дороге искать за Волгой Ложжаря-Семена.

2

Сквозь сосновые боры и березовые доли пробирается темной змейкой речка Санахта, бежит-торопится повидаться с соседом Керженцем. На пологом холме у реки среди сосен вековых прижалась к распаханным кулигам просторная и приземистая изба Семена-Ложжаря. Глядит она в темень осеннюю веселыми глазами, огоньком приветливо подмигивает. В избе березовая лучина горит, угольки от нее в ушат с водой падают и гаснут шипя. Не успеет догореть одна лучинка, как девчоночка Авдотка от нее другую зажигает, в железные светцы вставляет. Пока лучинка горит, девочка работает. Семен-Ложжарь сам-третей, согнувшись, за работой сидит, топориком из березы ложки вырубает да вытесывает. Жена Катерина из ложки-болванки скобельком нутро выбирает и тыльную сторону зачищает, а дочка Авдотка ножичком остальную басу и красу ложкам придает. Сидят на низеньких чурбаках-стульчиках, тихий разговор ведут, к ночи прислушиваясь, а готовые ложки из ловких рук, как рыбы, ныряют на дно плетеного короба.

А опричник Скирлибек с дружкой Васькой Басманом и стремянным той порой уже за Волгу переплыли и скакали лесными дорогами в край заволжский сосново-березовый. Раным-рано

поутру спешились опричники у Семеновой избы и в ставни стукнули. Недолго отклика ждали, вышли из избы все трое — и Семен-Ложкарь, и жена Катерина с дочкой Авдоткой, встали тесным рядом и дивятся на незваных гостей. На Семене сермяга внакидку, березовые стружки в курчавых волосах и бороде понасели, а Катерина в домотканом сарафане да кацавейке овчинной. Не шибко нарядной и Авдотка из избы выскочила — в рубашке льняной, розовой, высоко пояском подпоясана, на голове платок холстинковый узелком завязан, на ногах лапотки. Но загляделись на нее опричники, а пуще всех царский слуга Скирлибек. С большой неохотой оторвал он свой взгляд от девчонки Авдотки и грозно спросил Ложкаря:

— Чей ты раб и холоп, как прозываешься и на какого господина работаешь?

Мужик ответил опричнику, что с тех пор, как помнит себя, ничьим рабом и холопом не бывал, отца с матерью не упомянул, проывается Семеном-Ложкарем, работает на всех русских людей, что по Волге живут и едят не руками, как басурманы какие, а с кленовой и березовой ложки. Скирлибек на это Семену сказал, что всех ничейных людей грозный царь к своим рукам прибирает, был ты ничей, а теперь стал царским. И объявил опричник грозный приказ о том, чтобы к концу зимы Семен-Ложкарь сделал для царя сто сороков ложек кленовых, а березовых во сто раз больше. Да сделал бы сначала кленовые — для царских воевод и опричников, для попов и святых отцов-монахов, что за здравие царя молятся. А после кленовых ложек принимался бы за березовые — для простых бойцов: стрельцов, пушкарей и казаков, для работных людей, кои крепости строят и пушки отливают. Так сказал Скирлибек-опричник Семену-Ложкарю, первому мастеру по деревянной ложке. Да еще для страха прибавил, что если Семен царский заказ не исполнит, то его самого царь угонит на край земли за Каменный пояс медь и свинец добывать, а жену с девчонкой отдаст в неволю самому злomu и распутному опричнику.

На такие страхи Семен спокойно ответил, что наделать столько ложек, сколько царь повелел, не ахти как мудрено, лишь не подвела бы хвороба да хватило бы вокруг берез и кленов.

Когда наелись и передохнули кони, опричники в обратный путь к царской столице ускакали, а Семен-Ложкарь с того дня сам-третей крепко за дело взялся и к концу зимы выполнил царский заказ по кленовым и березовым ложкам. Кленов вокруг осталось мало, а березняк так поредел, что сквозь него видны стали редкие поселения хлеборобов и звероловов, живших по соседству с Ложкарем. Перед весенней распутицей, по последней зимней дороге к Семену царские обозники с думным дьяком приехали, пересчитали готовые ложки, погрузили на подводы и увезли к царю. Семен-Ложкарь с женой и дочкой у избы стоял, вслед обозу глядел и долго слушал, как скрипят по насту сани да звенят на конях бубенцы.

3

Когда прибыл обоз с ложками на царский двор, грозный царь приказал выдать по кленовой ложке всем боярам, воеводам, опричникам и атаманам, а простым бойцам — стрельцам, пушкарям и казакам — по две березовых. И стало у простых воинов за каждым голенищем по ложке: одна коренная, другая запасная.

Дело задерживалось только из-за ложек, поэтому в тот же день все царские полки в поход выступили, пошли воевать сразу на три стороны — с турками, крымчаками и ливонцами. Войскам грозного царя в той войне поначалу везде удача была, во всех трех сторонах они быстро занимали иноземные города и праздновали победу за победой. После каждой победной битвы русские воины садились у котлов, доставали из-за голенища кленовую либо березовую ложку и принимались за еду.

Поглядеть на бойцов собирался иноземный народ и дивился на них и на деревянные ложки, которыми они так ловко любую еду хлебали. Самые смелые из чужеземцев подходили ближе к котлам и просили дать им попробовать поесть с березовой ложки. А поевши, говорили, что есть с такой ложки очень сподручно и вкусно. Потом пробовали есть ложками воевод, атаманов и боярских сынков, а попробовавши, находили, что с кленовой ложки кушать еще ловчее. Понравились иноземцам деревянные ложки еще тем, что при еде не обжигали губы, как серебряные, а после еды не зеленели, как медные.

Наевшись каши, царские бойцы-молодцы начинали веселье. Лихие музыканты на ложках плясовую играли, а плясуны пели и плясали. Побежденный народ иноземный глядел и любовался на русских воинов и завидовал жизнью под грозным царем. Чужеземцы так думали, что русские люди у себя дома только то и делали, что у котлов с кашей сидели, на ложках музыку играли, песни пели да плясали.

И прошла великая слава о деревянных ложках по всем странам, с которыми грозный царь воевал, — по Крыму, по Туретчине и Ливонии. Дело дошло до того, что там простой народ бунтовать начал: «Не хотим войны с народом, который умеет делать такие чудесные ложки! Подайте нам ложки, которыми можно, не обжигаясь, любую пищу хлебать и, не отходя от котлов, музыку играть, чтобы петь и плясать!» Что дальше, то больше бунтовал народ во всех трех сторонах. Напугались народного гнева ханы, султаны, рыцари и бароны и послали грозному царю послов насчет мира договариваться. Те послы перед царем явились и сказали, что их правители согласны на скорый мир, все занятые города и земли за ним оставить, если он, грозный царь, на деревянные ложки не посякнется.

Обрадовался царь, что скоро и выгодно закончить войну удалось, подписал грамоту о замирении, а послам насулил приписать ежегодно деревянных ложек, сколь их правителям надо. Довольные послы домой поспешили, правителей обрадовать и народ успокоить, а грозный царь в тот же день к себе Скирлибека вызвал. Когда опричник явился, повелел ему царь немедля за Волгу отправляться к тому Семену-Ложкарю, что для войск так скоро ложек наделал. «Пусть тот Семен-Ложкарь к концу каждой зимы припасет ложек кленовых и березовых в сто раз больше, чем для моего войска сделал. За то дело награжу его так, как никого в своем царстве не жаловал!»

Вышел Скирлибек на царский двор, свистнул своих стремянных да дружка Ваську Басмана, оседлали они борзых коней и поскакали ватагой по Владимирской дороге. Не один день, не одну ночь мчались опричники от царской столицы на восход солнышка сквозь леса муромские. Через Волгу у града Новгорода Нижнего переправившись, еще ночь ехали и добрались наконец до края сосново-березового, где жил Семен-Ложкарь.

Встречать незваных гостей хозяин опять сам-третей из избы вышел, оба с женой приветливые, а дочка Авдотка за год повыросла и стала еще пригожее.

Прочитал Скирлибек ложкарю царскую грамоту, а от себя прибавил, что если Семен то дело не исполнит и ложек, сколь надо царю, к сроку не припасет, то его самого за Каменный пояс угонят свинец и медь из земли добывать, а бабу с дочкой самому злему татарину в неволю отдадут, либо на самое непотребное дело определят.

Задумался Семен-Ложкарь, бороду в кулак ухватив, жена Катерина поскучилась, а дочка Авдотка утешает: «Не кручиньтесь, родные, хватило бы вокруг берез да кленов — наделаем царю ложек, сколь ему надо!»

И засел Семен всей семьей за работу. А Скирлибек, пока стремянные коней вываживали да кормили, к Авдотке подсел и, глядя на то, как ловко она ложки ножичком зачищала, начал ее в царскую столицу сманивать — жить в тереме, наряжаться в парчу и шелка, носить шубку из соболей сибирских. На такие хитрости и посулы Авдотка ответила: «С родным отцом да

матушкой мне и в курной избе неплохо, а одежду себе сама припасу: ленку нарядную, холстинки натку, сама рубашку сошью — не хуже и шелка будет!»

Покосился опричник на розовые плечики и рукава Авдоткиной рубашки, на ее проворные и ловкие руки и снова манит с собой, сулит обувь в сафьяновые сапожки, а на голову — дорогую кичку, золотом расшитую, алмазами осыпанную. Но и на эти посулы Авдотка умный ответ нашла: «По родной земле не худо и в лапотках ходить — всей ножке тепло, пальчикам просторно, а головушку самотканым платочком принакрою».

Скосил глаза Скирлибек на русую головку Авдотки и ни слова больше не молвил.

В тот же день уехали опричники в обратный путь, царю обо всем доносить, награду за службу просить, а Семен-Ложкарь с женой и дочкой еще сердитее за работу принялись и под конец зимы выполнили царский урок по кленовым и березовым ложкам.

Но клена и березняка вокруг осталось совсем мало, на месте березовых лесов появились пустоши с пеньками, а по краям сосняк вековой да ельник дремучий. Приехали царские обозники, пересчитали ложки, погрузили на сани и в царскую столицу увезли, а Семен, не отдохнувши, опять за ложки принялся. Работал без отдыха, похудел мужик, обтрепался, обносились оба с бабой, только Авдотка, как всегда, цветочком выглядела. Льна и жита Семену посеять стало некогда, хорошо, что народ из соседних лесных поселений помогал, иначе пропала бы с голоду вся Семенова семья. Наказал Семен обозникам и дьяку сказать царю, что он на царской работе с голоду и надсады умирает, но когда те в столицу вернулись, грозного царя уже в живых не было. Поиграл он как-то на масленице с одним боярином в шахматы и проигрался. Расстроился царь и со зла да обиды со стула мертвым упал. Все бояре и опричники большой толпой, как мыши кота, грозного царя хоронили.

Так вот поработал Семен-Ложкарь еще лето да зиму, все березы и клены далеко кругом дочиста на ложки срубил, а царский урок не выполнил — дерева не хватило.

Перед весной опять приехали царские обозники, погрузили на подводы что было наделано ложек и в обратный путь тронулись. Семен не посоветовал им впредь за ложками приезжать, потому что березняка вокруг совсем не стало.

4

Но весной, как только снег растаял, лиходея Скирлибек явился опять с дружкой Васькой Басманом и стражниками. Под видом царской немилости Скирлибековы стражники заковали в железы Семена-Ложкаря и погнали в гиблые места из-под земли свинец и медь добывать.

А Скирлибек с дружкой Басманом тут остались. И Семенову избу сожгли, а Катерину с Авдоткой с собой повели. Мать с дочкой впереди шли, кони им в затылки горячим дыхом дышали, копытами на пятки наступали, а дружки-опричники, сидя в седлах, своему злому делу радовались. Вот улучила Катерина минутку, когда опричники зубоскалили да по сторонам глазели, и шепнула Авдотке: «Беги, дочка, хоронись, у тебя ножки резвые, только лапотки сбрось. А я их задержу, разбойников!»

Смекнула это дело Авдотка и стала сначала на одну ножку припадать, потом на обе и, обернувшись к злодеям, сказала: «Не могу идти, ноги натерла, позвольте лапоточки снять!» Села девочка на дорогу, разулась быстренько, вспорхнула и полетела, как пичужка, редким лесом сосновым да еловым. А Катерина опричников коней за уздечки схватила, поводья перепутала, а опричникам в глаза песком швырнула, и никак они не могли от нее отцепиться.

Авдотка тем часом что было силы лесом бежала, только розовая рубашка между деревьями мелькала. Когда устала да запыхалась девочка, у старой дуплистой ели остановилась, головкой к седому стволу прислонилась и просит: «Голубушка ель, сумрачное дерево, дремучие ветви, укрой Авдотку от опричников!» Закряхтела старая ель и в ответ проскрипела: «И рада бы укрыть тебя, девчоночка, только вижу я, бежит сюда злодей, боюсь, изрубит секирой меня, от ран изойду я душистой смолой, жуков да червей приманю, и источат они меня и тебя. Беги к сосне, авось она ухоронит!»

Побежала Авдотка дальше, розовые плечики и рукавчики ее рубашки ярким цветком мелькали среди деревьев. Быстро бежала, скоро запыхалась девочка, остановилась у старой сосны, обхватила руками могучий ствол и просит: «Матушка сосна, улыбчивое дерево, укрой Авдотку от погони». Качнула, шевельнула гордой вершиной сосна, заплакала, обливаясь горячей слезой-смолой, и молвила: «Рада бы спрятать тебя, сирота-девчоночка, да боюсь, злодей с секирой сюда бежит, изрубит меня, слезой-смолой изойду, сама зачахну-высохну и тебя высушу. Беги на пустоши, не укроет ли старуха береза. Да торопись — погоня близко!»

Вспомнила тут Авдотка, что на вырубках, где березняк на ложки рубили, отец одну старую дуплистую березу не тронул. И пустилась она бежать к пустошам. А Скирлибек из глаз ее не выпускает, бежит, догоняет.

Добежала Авдотка до березы, обхватила руками: «Родная мать-береза, укрой Авдотку от царского опричника!» Ни слова не говоря, затрещала береза, дала трещину, дупло ее стало шире и больше. Юркнула Авдотка в то окно, как синичка в гнездышко, а дупло стало суживаться, закрываться да и совсем захлопнулось перед носом набежавшего Скирлибека.

Начал опричник березу саблей рубить. Где ударил, там мигом березовая губа-трутник вырастала. Рубил, рубил, а береза стояла живехонька и с каждым ударом новым трутовиком, как языком, Скирлибека дразнила.

Со зла и досады плюнул опричник и побежал назад Ваське Басману помогать. А тот от Катерины никак не мог отбиться: вцепилась худыми руками намертво, коней не оторвать и самому не отцепиться. Подоспевший Скирлибек ударил женщину по голове рукоятью сабли, когда упала она, вырвали опричники из рук ее поводья, вскочили в седла и ускакали прочь от своего злого дела.

Катерина день и ночь пролежала, на заре очнулась и к пожарищу своей избы приплелась. Долго сидела она на головнях родной избы, пугливо озираясь по сторонам, ощупывала руками окровавленное темя, словно проверяя, на месте ли ее голова.

Вдруг Катерина повеселела, засмеялась, присела, по-птичьи взмахнула руками, как крыльями, и закуковала кукушкой. Потом она долго ходила вокруг сожженного гнезда по березовым пустошам, заходила в редкие поселения того края и куковала.

Не все узнали жену и помощницу Семена-Ложкаря, и когда люди спрашивали, кто она и откуда, Катерина отвечала: «Я бездомная кукушка с Семеновых пустошей. Мы с мужем наделали для царя целые горы ложек, за это царские люди сожгли нашу избу, а Семена угнали за Камень. Не слышали, не видели моего птенчика Авдотку? Говорят, что ее укрыла старая береза. Полечу к березе!» И снова Катерина взмахивала руками, приседала по-птичьи и куковала кукушкой. Соседи Ложкаря — следопыты и звероловы — ходили на розыски. По следам и приметам дошли до старой одинокой березы, изуродованной множеством наростов и губ. Постояли, поговорили, подумали, а дерево молчало. Хотя и добрые пришли к ней люди, но тайны своей береза не выдала. А Катерина не переставала куковать. Так ходила она по окрестностям вокруг сгоревшей избы Семена-Ложкаря и куковала до зимы. Потом пропала неизвестно куда.

Прошла зима, а весна принесла с собою много чудес и диковин. Манит весной человека на новые земли, в другие края. Когда прошел среди народа слух, что между Волгой и Керженцем хорошая земля под березовыми вырубками пустует, потянулись люди на Семеновы пустоши. Узнать, разведать, местечко облюбовать, где пеньки корчевать, землю пахать, лен да жито сеять. А над речкой Санахтой на сосновом бугре среди пустошей той весной поселилась кукушка звонкая, неутомимая. Без усталости куковала она, летая по ближним и дальним вырубкам. Придет ли, приедет ли новый человек место для поселения выбирать, кукушку услышит, заслушается и невольно крикнет: «Кукушка, кукушка, сколько лет мне здесь жить?» Как начнет куковать серая! Тот человек за полста насчитает, со счета собьется, а она все кукует, ворожит ему долгие годы жизни на этой земле. И стали быстро, одна за другой, вырастать на Семеновых пустошах зимницы, избы и деревни новоселов. А кукушка каждую весну появлялась на сосновом бугре у Семеноваго пепелища, нежным кукованием заманивала людей поселиться и ворожила им долгие годы жизни на новоселье. И появились на Семеновых пустошах новые избы и деревни.

Одинокая и уродливая береза, что в своем дупле спрятала Авдотку, в ту же весну зазеленела пышным листом и нарядилась в длинные цветы-сережки. А под ней, из того места, куда со зла плюнул Скирлибек, вырос большой гриб-мухомор, нарядный и ядовитый, как царский опричник.

Когда сережки созрели, старуха береза трянула ветвями, а ветер подхватил посыпавшиеся семена и разнес их во все стороны по Семеновым кулигам и пустошам и дальше по просторам Заволжья. Через год из ее семян пробилось буйное березовое племя, наперегонки потянулось к солнцу, и выросли вокруг распаханых полей новые березовые леса. Люди со всех сторон не переставали прибывать и заселять Семеновы пустоши. А кукушка на бугре была жива и куковала каждое лето, обещая новоселам долгую жизнь на новом месте.

Лет через тридцать — сорок после того, как царские слуги сожгли избу и погубили Семена-Ложкаря, на Семеновы пустоши издали пришел изнуренный старик. Когда его спросили, откуда он, старик отвечал: «Из-за Камня!» Когда спрашивали, чей он, старец отвечал еще мудренее: «Молодым был ничей, потом стал царским, а теперь опять ничей!» И трудно было старожилам узнать в страннике Семена-Ложкаря. Глаза его выцвели от пыли и пота, кожа побурела от ветра и солнца, голова побелела от лютой невзгоды, а спина согнулась от работы не по силам. Но умелые руки Семена-Ложкаря были целы.

Разыскал старик заросшее лесом пожарище, построил тут себе избушку и начал делать березовые ложки. Это было очень вовремя и кстати, потому что все ложки, которые он в молодости наделал местным людям, поломались и износились, а новых наделать было некому. Взрослые и дети пользовались самодельными ложками, грубыми и тяжелыми, которые царапали язык и губы. Зато ими было очень ловко драться, и озорники ребятишки, сидя за столом, не столько ели кисель и кашу, сколько стучали друг друга ложками по лбу. Только у старых людей хранились Семеновы ложки в укладах и сундучках, как драгоценности. По большим праздникам хозяева подавали их на стол только для того, чтобы показать, и все гости дивились мастерству Семена-Ложкаря, которого царские стражники угнали на Каменный пояс.

Поработал старец Семен в своей избушке сколько-то дней и наделал ложек всем людям, от малого до старого, что жили между Керженцем и Волгой и даже дальше. Простой народ Заволжья стал обедать новыми ложками, радоваться возвращению Семена-Ложкаря и захотел перенять его мастерство. И потянулись к избушке старого Ложкаря люди из близка и далека учиться ложечному ремеслу.

Старый Ложкарь, не жалея сил, продолжал обучать людей делать ложки, а кукушка каждую весну прилетала на облюбованный бугор неподалеку от его избушки и без устали куковала, обещая людям долгую жизнь. И все, кто хоть раз появлялся на Семеновых пустошах, чтобы приглядеть место для новоселья, послушав кукушку, не раздумывая строил избу, распахивал кулигу, сеял лен и жито. А пообжившись, чтобы не скучать от безделья долгой зимой, новоселец перенимал искусство Семена-Ложкаря. Так в сердце керженских лесов на березовых вырубках поблизости от Кукушкина бугра и Сееновой избушки быстро выросло большое селение Семеново, а далеко вокруг него — много деревень, где жили хлебоборобы и ложкари.

Сосновый холм, на котором жила и куковала кукушка, призывая людей заселить Сееновы пустоши, народ навечно прозвал Кукушкиным бугром. Так он и до сейчас называется, а сееновские жители издавна полюбили проводить на нем веселые праздничные гулянья.

Искусница Авдотка, помогавшая отцу с матерью на всю Русь ложки делать, тоже не пропала бесследно. После того как старая береза, укрывшая девочку, расцвела и осеменила все Сееновы пустоши и все Заволжье, выросли здесь новые березовые леса. И стали ложкари примечать, что пеньки срубленных берез весной покрываются розовой накидкой, словно в розовую кофточку пенек одевается! Тогда старые люди, помнившие беду Сееновой семьи, сказали: «Это Авдоткины рукавички на пенках показываются, чтобы мы ее не забывали!» Продольный же шрам на стволах берез, укрывший либо дупло, либо нездоровую сердцевину, те старики называли «Авдоткиной хоронушкой».

Здесь конец сказки про Семена-Ложкаря. За все беды, лишения и гонения от царя, за бескорыстную передачу в народ доброго и полезного ремесла сама земля и люди, не сговариваясь, надолго запомнили его имя. Там, где была избушка старца Семена, родился и вырос целый город Сеенов, родина и столица ложкарного промысла.

С. ВЛАСОВА

Васяткин сапожок

Про наше каслинское литье да его мастеров, что своим умом и смекалкой до большого дела в литье доходили, как из чугуна не только сковородки отлить, а самонастоящие кружева сплести или такую красоту в поделке смастерить, что диво людей брало, — слава по всему миру давным-давно гуляет. К примеру сказать, ежели конь с седоком отлит, то все как живое в литье. И седок-воин или просто наездник лихой — тоже будто живой человек. И шапка на нем, и бешмет, взглядишь — и пуговицы даже чернеют. Кудри из-под шапки на голове видны, и улыбочка на губах играет. Да что там кудри, если чугунный наездник от беды скачет, то весь он на своем чугунном коне точно встревожен чем-то. На лице не улыбка тогда, а забота видна. Об волшебниках же, что эти поделки отливают, легенды и сказки в народе живут...

Про Васяткин сапожок тоже не одна сказка сложена. Кто говорит, будто в революцию в таком сапожке парнишка Васятка в цеха тайные бумаги носил... От большевиков к рабочим были эти бумаги, на бои с хозяевами заводов рабочие поднимались. А рождение этого чугунного сапожка вот каково:

...В старое, престарое время в дремучих лесах, на горах Уральских затерялся заводчишко один — Каслинским его назвали. Жил в нем вместе с другими крепостными людьми и Михаил Торокин. Какой он был из себя, не донесло до нас время, а вот то, что он мастерко был отменный по чугуну, — это известно давно.

Говорят, от деда он еще слышал, как их весь род в кузнецах век коротал, на огненной работе горел. Все редкостные кинжалы ковали, а один в их Торокинском роду отменным кольчужником был. Вот куда их родовая-то уходила.

— Не проволоку тянул, — хвастал дед Михаилу, когда тот подрос да в цех угодил, душной низенький сарай с пристройками.

Любил Михаил слушать дедовы сказки про кольчужников в их роду. И про то, как дед говорил:

— Слава-то про кузнецов издалека ведется, чисто великаны кузнецы. Они тебе и кинжал откуют, и кольчужную рубаху сплетут. Только сноровку надо иметь большую.

Но не хитроумное кольчужное мастерство занимало Михаила, с другой думой он не расставался: не чугунок для щей или топор изладить, а настоящую поделку — вроде кречета в небе или подсвечник на столе.

Не враз пришло умение к Михаилу, не сразу он модель орла вылепил, а потом и отлил по этой модели птицу и такую, что сам управитель принялся пот с макушки вытирать от радости при виде такого чуда. Это тебе не из глины или воска штучка, а из чугуна отлитая. Долговекая красота.

Покрыло время, как снегом запорошило, тайну мастерства и умения Михаила Торокина, как он первым в чугун жизнь вдохнул, как в его руках чугун человеческой силой заиграл и как его орлы и кречеты в полете — вот-вот улетят.

Большие деньги Демидовы загребали от уральского железа, немало получал доходов заводчик и от литья каслинского. Во дворцы каслинские поделки князьями и графами покупались, ну а Михайловы наособицу.

Год от года росло мастерство Михаила, только жизнь оставалась такой же голодной и тяжелой, какой она была у прадедов и дедов его. Известно, в крепости жили. Да и не по душе было Михаилу разных драконов лепить и русалок отливать, что приказывали хозяева. К другому его сердце тянуло — что кругом в жизни было. И хотел он это в чугуне на века показать.

И вот как-то раз занемог Михаил от работы, короткий век-то был в ту пору у работных. Ну жена, как полагалось, натопила печку в избе пожарче — дело зимой было, — залез Михаил на печку, укрылся тулупом покрепче и уснул. Сколько времени проспал, неведомо нам, только вдруг среди ночи проснулся. А ночь месяшная выдалась...

Проснулся Михаил, весь в поту лежит и по избе глазами шарит. Хорошо все видать. Тут полати, и на них сын и дочь спят. Тут жена у печки сидит, согнулась у каганца, лен теребит. На залавке чернеют модели новых поделок, приказчиков наряд: для господского дворца в самом Петербурге вылепить и отлить два чудища-льва, диковинных зверя с человеческим обличьем.

Не по душе эти поделки мастерку.

«То ли дело отлить коней на скаку. Как живые, они бы стали возле дворца», — думает Михаил, но не силен он пересилить своей думой хозяйскую прихоть.

Лежал-лежал Михаил так, думал и вдруг его взгляд на старые сапожишки сына упал. У порога они стояли. Низенькие, с петельками и заплатами на боках. Защемило сердце у Михаила, глядя на сапожишки.

Вся его горестная жизнь ровно в этих сапожишках вызвездилась, с ее нуждой, горем и болезнями. Закипело сердце у Михаила, и подумал он: «Погоди, Васятка, — так сына звали, — увековечу я нашу жизнь, всю ее в твоём сапожишке покажу».

И показал.

Когда оздоровел, говорят, первым делом за сапожишко чугунный принялся. Отлил такой, как настоящий Васяткин сапожок. Низенький, весь в складочках, морщинках от долгой службы. Широконосый с тремя петельками: одна позади и двумя по бокам. Двумя здоровенными заплатками — одна на носке, а другая на голенище. Хорошо их видать, ведь отец сам их латал. Носок сапожка кверху поднялся, ну все как есть, и вправду, на сапоге.

Любовались люди поделкой, сразу признав Васяткин сапожок. Только приказчику не поглянулась. Кричать поднялся на Михаила, как увидал поделку. Дескать, что это за работа — насмешка одна! Увидят господу — борони Бог! Разве дозволено с простого сапога украшение отливать, хоть и сделана она руками, как полагается?

Шумел, кричал приказчик за сапожок и строго-настрога запретил чугун на безделушки переводить, не поняв так всей красоты поделки, которая в точности все передала.

Думал Михаил отлить поделки о живых людях: как сено мужики из леса возят, как лихая тройка скачет по полю зимой, а за ней бегут вдогонку волки — уж совсем настигают. Только так и не довелось ему «лбом камень прошибить», любимые поделки сделать. Не хотел под плеть ложиться, да и сиротами сынов оставлять.

Много лет спустя его племянник, тоже Василий, когда уж в силу входил как мастер по чугуну, вынул из горки чугунный сапожок и задумался. Понял, какая думка была у дяди, когда тот лепил сапожишко. Понял и в цех взял поделку. Как есть повторил из чугуна сапожок и отдал его людям.

Не только поколения Торокиных и его внуков, но и умельцы Каслей Широковы и Вихляевы, Глуховы и Гилевы — все, все сумели правду про свою жизнь через чугун рассказать, а не только волшебных драконов отливать.

Тем и славится уменье каслинских мастеров, что своей живой кровинкой сумели чугун оживить, на века его сделать...

Ю. АРБАТ

Древняя братина

Про хозяина тебе рассказать, голубок? Ну что ж, расскажу. Только история эта такая давняя, что начинать ее следует, как говорится, с сотворения мира.

Мать и отец у меня — природные фарфористы. По мужской линии у нас все точильщиками

работали, нынче это формовочная профессия — одним словом, вытачивали посуду. Женщины с малых лет в живописную шли и так до слепых глаз там и вековали. Дома меня оставить не с кем, ну мать и брала в цех. Сама она садилась к длинному столу, за которым трудилось еще одиннадцать таких же мастериц, а меня укладывала в корзинку возле себя. Помню, все шутила:

— Я тебя грудью кормила, а ты уже скипидар нюхал.

Так что, выходит, я не то что с пеленок, а с деда-прадеда фарфорист.

Ходить выучился, за стол в живописной держась. Идешь от табуретки к табуретке, все поближе к окну норовишь: оттуда видно, как дым из фабричной трубы валит, — а навстречу тебе, за те же табуретки, как за надежную опору, цепляясь, шагает мой годок, сын другой живописки. Ну, иной раз и подерешься. Только матери нас живо в чувство приводили: шлепок, и все тут. Потому мастер, не дай Бог, крик услышит, — сразу велит гнать из мастерской.

Подрос я и в точильщики не пошел. Нарушил, можно сказать, обычай. Какой интерес формовочную пыль глотать, все свои корня отравлять ядовитым воздушным пространством? Целый день, будто в тумане, в этой пыли. Не жильцы они считались, точильщики-то, все до единого чахоточные. Я, положим, не только это в резон брал, — меня само живописное дело манило. Сидят люди за длинным столом, один байку рассказывает, другие слушают. А тоненькая кисточка сама в руке ходит. Глядишь — на лазури-мураве розан расцвел, листочки-бутоны выпустил, темно-коричневые тычинки появились. Обожжешь чашку в огне, и эти тычинки, словно золотые бусинки, рассыплются.

В ту пору с ученьем — одно горе, не то что нынче.

Мастер тебя под свою руку то ли соблаговолит принять, то ли нет. А и примет, так на посылках набегаешься. Уж я и цветы выводить наострил, и рука у меня окрепла, так что старых живописок в работе обгонять мог, а не признают, нет. Расчет лукавый: если учеником числишься, хозяину от этого прямая выгода — платил он ученикам сущие гроши.

До двадцати двух лет состоял и я в учениках. Женился, жена на сносях ходила — вот тогда дождался я настоящей работы.

Ну, это все — присказка, а теперь слушай о том, с чего начали: про хозяина. Расскажу, как я самое естество его распознал.

Работал у нас старый мастер Федор Николаевич, и хранил он великие богатства. Там в его запасе и самоличные рисунки, и наброски учителя еще не знай каких времен, и листы из книги — изображения древнерусской деревянной резьбы, боярской парчи, кружевного плетения, и росписи на нижегородских, правильнее сказать, городецких прялках, с такими конями, что взора не отведешь, и много всякой другой радости. Старик брал оттуда узоры для посуды, а листы прятал, чтобы никто другой не попользовался: тогда каждый свою выгоду стерег.

В неловкий час забыл Федор Николаевич листы на подоконнике. А я в живописной от зари до зари вертелся, подметил это. Вот, скажу тебе, голубок, где счастье мое открылось! Раньше-то я считал, что все мастера сводят рисунки. Были, мол, с незапамятных времен чашки, их живописцы и повторяют в тысячный раз, — листок к листку, точка в точку. А если новая парочка — то есть чашка с блюдцем — появилась, все знали: привез ее хозяин из-за границы как образец, теперь, следовательно, будут сводить этот самый рисунок. И вдруг увидел я среди листов что-то похожее на рисунок Федора Николаевича: пышные цветы с узорными сердцевинками, жар-птицы на ветках, хитросплетение трав. Ну, молодежь, хоть она и неумелая, а дерзкая на дела — мне тогда и пятнадцати годков не минуло, — решил я сам рисунок составить. И что бы ты думал, голубок, — вечер посидел и нарисовал так, как в

листах видел. До того осмелел, что даже самому Федору Николаевичу мое художество показал.

Ох, и задал же он мне трепку! Таскает меня за уши, а сам приговаривает:

— Всякая птаха своим носком клюет. А у тебя сызмальства на чужое добро руки зудят. Отвыкай от того, отвыкай.

Я ополоумел — боль-то какая, — кричу ему:

— Отпусти, дядя Федор! Чего дерешь? Сам-то тоже из книги узоры брал.

Сразу отпустил меня Федор Николаевич. Я сижу, уши тру, слезы глотаю, а он тихо так, в половину голоса, мне выговаривает:

— Того не понимаешь, что я одно беру, а ты — другое. Если бы с толком пользовался, я бы тебе поперек слова не сказал. Для меня важна сама душа узора. Ну, как тебе это попроще растолковать — ключ я к рисунку ищу. А ты раз-раз и весь узор, как есть, с бархата тянешь. Да и плохо тянешь, фальшиво. Вроде бы человека нарисовал: одна нога короче, другая длиннее, а на руке восемь пальцев.

Тогда я, по правде сказать, не понял старого мастера. Думал — просто-напросто обиделся он на мои слова. Какая разница: беру и беру. А сейчас-то знаю: мудрый мужик. Жаль только его: уж очень и хозяин и управляющий его прижимали, все гнали — скорей, скорей, подолгу работать не давали. Мастер руку набил, а легкость, крылатость в рисунках потерял. И запил с горя. Сколько таких людей раньше спивалось — не счесть!

Но что ладно вышло — стал Федор Николаевич с тех пор задушевно говорить со мной о разных живописных делах и даже рисунки — все свое добро — не прятал, как испокон веков у всех мастеров-секретчиков водится.

Скоро доверили мне важный заказ. Понадобилось для главного Кузнецовского магазина в Москве расписать большую вазу. Управляющий меня испытать решил. Я сделал по совету Федора Николаевича: цветы из сказки и городецкого коня в травном узоре. Но уж сам поразмыслил, что к чему приложить.

Долетела весточка из Москвы: хозяин, Матвей Сидорович Кузнецов, одобрил мое мастерство и распорядился вазу выставить в витрине, а мне пожаловал двадцать пять рублей наградных. Ваза-то в пять раз дороже стоила, но мне и те деньги — невиданное богатство.

Подходит как-то смотритель живописной — Нероном его прозвали, паскудный был мужичонка, а над нами владыка, — и говорит:

— Лександр, иди в контору, Павел Николаевич тебя требуют.

Я соображаю: зачем это управляющему понадобился? Боялись его у нас и не любили: прижимистый старовер. На каждой конторской книге у него церковнославянскими литерами выведено: «Господи, благослови», а обсчитывал рабочих, как последний басурман. За добром он никогда не кликал, вот я и сробел.

Но тут получилось по-иному. На поклон мой ответил милостиво, напомнил о вазе:

— В Москве будешь, пройди на Мясницкую, посети магазин, взгляни, как красуется в витрине продукция твоего ремесла.

Он у нас любил говорить пышно.

Я по обычаю отвечаю:

— Покорно благодарю, Павел Николаевич!

А он далее:

— Матвей Сидорович честь оказывают. Изготовят тебе в точильной братину. Знаешь: сосуд такой, вроде ковша. В старое время на пиру братина с вином вкруговую шла.

Руками он этак изобразил мне, что это за братина, а потом и приказывает:

— Расписывать ты будешь. В старорусском духе. У тебя это получается.

— А скоро надо? — спрашиваю. У самого холодок на сердце. Вдруг такой срок назначит, что и подумать над вещью некогда. В памяти у меня все Федор Николаевич, покойник, стоял.

Управляющий долго и затейливо поучал, а смысл такой:

— Прохлаждаться некогда. Однако и спешить не след. А наиважнейшее состоит в том, чтобы Матвею Сидоровичу угодить.

Я по простоте размыслил было, что с меня обычной работы спрашивать не станут, — плохо еще знал хозяина. А приказ вышел жестокий: над братиной трудиться в свободное время. Где ж его взять, это свободное время-то? Его минутами копить пришлось. От зари до зари в живописной штаны просиживаешь, кистью водишь. Домой доберешься — одна забота, поесть бы да на боковую. Но я в ту пору на все рукой махнул — и на сон и на еду, только бы к братине подступиться.

Ключ к рисунку взял такой. В папке у дяди Федора видел беглый набросочек узорный резного наличника необыкновенной красоты. Протянулась русалка, полудевка-полурыбий хвост. Учитель мой рассказывал, что на Волге, где он узор этот срисовал, такое чудо берегиней или фараонкой именовали. Все тело в чешуе, хвост в три лепестка, с головы кудри витком спадают, в руке — цветок на манер тюльпана, а сверху и снизу — бордюры. Будто бы с незапамятных времен подобной резьбой украшали волжские парусные суда-расшивы, а особенно «казенку» — каюту лоцмана на корме.

На братине задумал я изобразить эту дяди Федорову берегиню и льва, которого резчики тоже любили, и разные мудреные цветы, и вьющиеся травы. И упорней всего пригрезилось мне так заплести, запутать весь узор, чтобы не сразу и разобрали где что.

Ну, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Полгода я трудился, ночей не досыпал, на гулянки не ходил. И кажется, добился своего. Сочинил вещь в подлинном русском духе. Шесть раз отправлял братину в огонь для обжига — ведь каждая краска своего обращения требует.

Вот и коричневые жилки, контуром пропущенные по всей братине, заблестели солнцем-золотом. Кажется, все. И вдруг заметил я возле ручки маленькую трещинку. Ну, просто пустяковинка, вроде осенней паутинки. Бывает это часто при многократной посадке в огонь. По моему соображению, не велика беда — вещь художественная, не чайная чашка, не полоскательница.

Явился к управляющему фабрикой, сказал:

— Так и так: дозволейте доложить — готова братина.

Управляющий передал хозяину, и вот сообщают: изволят-де прибыть на фабрику сам Матвей Сидорович Кузнецов.

Тебе-то его видеть, понятное дело, не довелось, так я опишу, какой он внешне был, — о сути его ты и сам вывод сделаешь. Росту немалого, и дородностью его Бог не обидел, черные глаза навывкате, с поволокою, борода надвое расчесана, и усы кольчиками, — любил, одним словом, в приятности и красоте себя содержать. Но красива ягодка, да на вкус горька: скупердяй несусветный, одно слово — жила. Всегда твердил: «Копейка покатна: выпустишь из рук — не настигнешь». Умел он эту копейку к другой копейке прибрать, рубль накопить и в дело пустить. И с живого и с мертвого драл, со вдовы двугривенный за покойного мужа — горновщика или точильщика — взыскивал.

И все-таки я прикидывал: при всей скупости достойно отблагодарит меня Матвей Сидорович. Ведь подобную вещь я второй раз не сотворю. Рассчитал, какие долги отдам, что куплю жене, ребятам, кому из родни подсоблю.

Вот и слух-говорок на фабрике пронесся:

— Прибыл хозяин.

Иду по двору со святыней: братина в женин платок укутана, держу, как грудное дитя, шаг сделать боюсь, носком сапога сначала землю трогаю.

Развертываю в хозяйском кабинете, прячу платок, а самого подмывает: вот, поди, удивится!

Обошел вокруг стола Матвей Сидорович раз, другой. Вижу: доволен.

И вдруг заметил Матвей Сидорович трещинку — ту самую, с осеннюю паутинку. Долго рассматривал. Ко мне-то он спиной встал, а я примечаю: затылок у него вроде пунцовый сделался. Ну, думаю тут, без фальши сердится.

Как рявкнет он на меня:

— Трещина!

Круто так повернулся, братину чуть не к носу сует и — в голос:

— Не уберег? Сгубил доверенную вещь?!

Я было хотел в полное оправдание заявить, что, мол, не велика печаль: кто ее, паутинку-то, станет рассматривать? Опять же не в моей власти сберечь товар во время обжига.

Не дал мне хозяин и слова вымолвить. Кричит как одержимый:

— Мои материалы тратишь задарма! Червонного золота вон сколько извел, а соблюсти работу не можешь!

И ну меня честить:

— Дармоед, лентяй, разиня!

Красный весь, трясется, — он всегда клокотливый был, а сейчас совсем из себя вышел.

Не стерпело у меня сердце. Что же это, думаю, за несправедливость такая! Я полгода мученическую жизнь вел, а он, рачьи глаза, меня же корит! Как гаркну ему вразрез:

— Э-эх, Матвей Сидорович, разве можешь ты ценить настоящую работу?!

И стал завертывать братину опять в женин платок, хоть руки трясутся: узел скрутить сил не хватает.

Хозяин плюнул и из кабинета долой. Так дверь хлопнул, что в шкафу фарфор зазвенел, — там образцы для показа всегда стояли.

Что же мне делать? Я с братиной к себе в живописную. Иду и думаю: выгонит.

В живописной меня ждали, любопытство всех брало: как-то наградит хозяин. А увидели и в одно слово:

— Не угодил?

Но самая-то главная беда еще впереди ждала.

Не успел я товарищам моим все путем рассказать, как является сын хозяина, Борис Матвеевич.

— Отец приказал, чтобы ты братину при мне разбил.

И встал как истукан, ждет.

Я сначала думал: ослышался. Смотрю на хозяйского сына, и слов у меня нет. А Борис Матвеевич повторяет:

— Разбей!

Помертвел я весь:

— Как, говорю, так: разбить?

— А так: разбей, и вся недолга.

Мотаю головой:

— Не могу.

Хозяйский сын сердиться начал:

— Что это значит: не могу. Приказано, стал быть, выполняй.

Будто тронутый, я все головой качаю, а братину к груди прижимаю.

Тогда Борис Матвеевич пригрозил:

— Ослушаешься — с фабрики долой. Это — отцова воля. Дан тебе срок до завтрашнего утра.

И ушел.

Я домой собираюсь, и ноги меня не держат, шатает, будто травинку на ветру.

Сначала я храбрился.

«Пес с ним, — думаю о хозяине. — Кину все и уйду. Что я, каторжный, что ли, ядро у меня к ноге привязано? На другие-то его фабрики меня, понятное дело, не примут, так я подамся к его двоюродному братцу Ивану Емельяновичу в Новгород или Чудово. Второй Кузнецов хоть и не столь богат, как Матвей Сидорович, а тоже на трех фабриках фарфор выпускал и хорошего мастера поди-ко взял бы».

Вроде и полегчало мне от такого решения.

А дома пришел, рассказал — беда. Все зачали голосить, словно по покойнику. Да ты и сам посуди, голубок мой ласковый, что случилось бы, коли я дом свой покинул. Весь мой капитал — руки. И они не свободны, на них обуза: семья. Сбережений — ни грошика. О награде за братину думая, я еще в долги влез, — выходит, сам на своей шее петлю затянул. Ну, допустим, кину все, как задумал, доберусь до Новгорода. А семья? Как прокормятся жена, ребятишки, мать слепая? Как с долгами расплатятся? Получилось, что семья-то, она в моем положении тяжелее ядра.

Всю ночь меня эти мысли донимали. Так наутро ни с чем и пошел на фабрику. О Новгороде не помышлял, а и себе боюсь признаться, что разрушу свое творение.

Хозяйский сын Борис Матвеевич спозаранку заявился в живописную. Увидев меня, подошел, молчит, только сычом смотрит, узнать хочет, на что я решился.

— Бить? — жалобно так спрашиваю и гляжу на Бориса Матвеевича, может, сжалится черствая душа. И плывет его лицо передо мной, потому что слезы мне свет застят.

— Бей! — командует он.

Глотнул я воздуха, взял чугунный круг от турнетки, на которой тарелки и чашки крутят, когда расписывают или отводят золотые усики и ленты, и ударил по братине.

Хочешь верь, хочешь нет, таково-то протяжно она голос подала, будто с жизнью прощалась. В тумане вижу, распалась братина на две половинки, и сникли они на стороны, как подкошенные, в сердце сраженные. А хозяйский сын требует:

— Еще ударь!

Ударил я еще и еще. Вот, думаю, вдоволь покуражился хозяин и надо мной и над моей работой, оценил ее.

А Борис Матвеевич аккуратно собрал черепки, даже ничтожные крохотки, и унес. Опять, видно, выполнял приказ отца.

От такого горя не скоро оправившись. Однако время залечило, да и товарищи помогли. Объяснили, растолковали, что другого от хозяина нечего и ждать: выжига он был, выжигой и остался.

Все представление с братиной Кузнецов разыграл не зря. И меня унизил, и сам внакладе не остался. Узнал я обо всем некоторое время спустя. Велел он черепки обработать, будто они старее старого и в земле долго пролежали, потом склеить. Выполнили его распоряжение: блажит, мол, хозяин, — сначала приказал разбить, а теперь восстанавливает. А он какому-то заезжему богачу-охламону продал братину под видом русской древности. Деньги большие взял и все приговаривал:

— Теперь так работать не могут: тайна мастерства потеряна.

Вот вспомнил все, растревил сердце и опять не в себе. Эх, голубок, такие-то бывали в прежнее время истории!

Ловкий сыщик

Можешь, конечно, не верить: вот, мол, сготовил Арсентьич дичинку с начинкой. Но я за что

купил, за то и продаю: взял за четыре грошика, а уступаю по две денежки за пару. Передам слово в слово, как родитель мой рассказывал. У него занятных историй полон короб накопился, а эту он на отметинку любил. Да и приятели-то его именно ее чаще других просили рассказывать. Только один приезжий возразил:

— Я, — говорит, — об этом слышал от судебного деятеля.

Да ведь там с чужих слов, а отец, можно сказать, участник событий.

Ну, а если что не так, не обессудь: прямо-то только сорока летает.

Отец мой первостатейным гравером слыл на всю Россию, на все Кузнецовские фарфоровые заводы. И произошла с ним такая оказия, когда ему, рабочему человеку, хозяин чуть не в ножки кланялся, Христом-Богом молил выручить, сделать одолжение, любые деньги сулил, хоть те пятьсот рублей, хоть тысячу — ей-ей! — лишь бы он согласился хозяйскую просьбу уважить. И еще как уговаривал.

— Не я, — говорит, — ходатайствую, сам государь-император.

А царь-то тогда знаешь какой был? Под горячую руку ему не попадайся. Штоф водки выпивал, и не стопками, а вприпадочку. Сколько дней в году, сколько святых в раю, столько он и праздновал. Состоял при царе генерал, начальник императорской охраны, тоже любитель сполоснуть зубы. У обоих сапоги по форме — бутылками, с широченными голенищами, а за голенищем коньяк в плоских флягах, сообразили бражники, чтобы близкие не заметили, откуда взялось святое зелье. Трезвый-то царь тихо ступал, в бороде улыбки прятал, на большой медной трубе марши наигрывал, а во хмелю буянил: пудовым кулаком человека мог на месте уложить. И укладывал, очень даже просто.

Может, я не с того конца начал! Пожалуй, что и так.

Тут, понимаешь, в столице все дело-то началось, в Санкт-Петербурге.

Послом одной иностранной державы состоял то ли барон, то ли граф какой, величали его «ваше сиятельство», а фамилия, конечно, мудреная, нерусская, язык сломаешь, выговаривая. Ну, да не в этом суть. Сама история-то с приключениями.

Считался граф-барон первейшим знатоком фарфора. Все в уме держал: какой мастер на какой фабрике какую марку ставил — и будто бы даже мог определить год выпуска чашки, блюда или там вазы. Не особенно сведущий любитель увидит два синих меча на донышке чашки и сразу: «Это саксонский фарфор с фабрики города Мейсена». А граф-барон хитро улыбается: извините, говорит, подвиньтесь: видите возле этих мечей звездочку о шести лучиках? Свидетельствует такой значок о том, что хотя мастер некогда жил в Саксонии, но, разукрашивая вещь, работал на русском заводе господ Гарднеров в Вербилках, и, судя по тому, как золотые бантики в рамке изображены, могу сказать, что звали того замечательного мастера Иоганн Кестнер. А расписал он чашку в шестидесятых или там в семидесятых годах восемнадцатого столетия.

Если по-современному говорить, являлся посол специалистом фарфорового дела, профессором или даже академиком.

Назначат его в какую страну послом — он туда все свои собрания и везет. Потому без них жить не мог. В стружки, в морскую траву, в вату аптекарскую слуги ему каждую чашечку и тарелочку упакуют, в ящики заколотят, осторожные надписи напишут: мол, не разбейте — и подобным манером из города в город, из страны в страну и переправляют.

И надо же такой беде стрястись, что не в городе Париже и не в городе Лондоне, а именно в

Санкт-Петербурге забрались к нему вору. До того ловкий народ оказались эти мазурики — не иначе как по чьей-нибудь злой указке действовали, — ничего от посла ценного не взяли, кроме старинного немецкого сервиза. А у графа-барона этот сервиз был на самом лучшем счету, больше всего посол его любил.

Назначил русский император торжественный прием, не знаю уж по какому особому случаю. Послы разных стран должны быть на таком празднестве. Все они присутствуют, и нет только одного — этого самого графа-барона.

Царь уже выпил в тот день для веселости, но по сторонам поглядывает, все на заметку берет.

— Чтой-то, — говорит, — не вижу я графа-барона.

Министр ему докладывает:

— Он в сильном расстройстве, ваше императорское величество. У него какая-то беда.

— Что за беда может произойти с иностранцем в моем государстве? — рассердился царь. И тут же дает распоряжение: — Выяснить, что стряслось!

А сам в соседнюю тайную комнату прошел и из-за голенища плоскую флягу вытащил, чтобы принять лекарство от расстройства нервной системы.

Министр туда-сюда разослал людей. Они в момент все разузнали. Опять докладывают царю:

— Украли у господина посла самый любимый фарфоровый сервиз.

Царь в сердцах как стукнет кулаком по столу орехового дерева — куда ножки, куда крышка, одни щепки на полу.

Приказывает министру:

— Найти сервиз!

Это легко сказать: найти. Кисточка, бывало, затеряется — ищешь, ищешь, семь потов сойдет, пока ее в дальнем углу под столом заприметишь. А тут сервиз. Не попросишь: «Чертик, чертик, поиграй да отдай». Не бес крутит, а воровская шайка, она тебе следов не оставит, заклинанием ее не возьмешь, а царев указ оставляет вовсе безо всякого внимания.

Однако для министра слово царя — закон. Вызвал он главного сыщика.

— Хоть умри, — говорит ему, — а найди! Иначе мне на глаза царю показаться невозможно.

Тот, конечно:

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

И стал искать.

День ищет — ничего. Два — ничего. Все вору и мошенники главному сыщику известны, всех их он спрашивал, никто не брал, и никому ничего про сервиз не известно.

— Ищите, каналы! — приказал сыщик. — Не найдете — я на глаза министру показаться не смогу.

Снова ищут вору и снова говорят:

— Нет сервиза.

Посол между тем от расстройства совсем слег, и царю, конечно, об этом немедленно — нашлись такие люди — доложили. Царь — министру нагоняй, министр — сыщику. А сыщика и без того досада гложет. Не то страшно, что его отругают или рассчитают, а по самолюбию ударяет. Ведь он недаром слыл самым знаменитым в России сыщиком: все мудрые дела распутывал.

За Нарвской заставой купца ограбили — кто отыскал разбойников? Главный сыщик. Из военного госпиталя бежали двое мазуриков — кто их настиг в двадцати верстах от столицы? Все он же, главный сыщик. Появился в лучших домах Петербурга мошенник, за князя себя выдавал — кто его на чистую воду вывел? Опять же главный сыщик. Фальшивомонетки прятались в подвалах, убийцы норовили скрыться, наклеив фальшивые бороды (мало ли было всяких историй!), и всюду сыщик на манер козырного туза всех кроет. Ордена ему жаловали, в чинах повышали: был такой случай, что царю докладывали, и тот не пожалел золотой табакерки, усыпанной бриллиантами. А тут, на-кася, опростоволосился. Стыд!

Заперся сыщик у себя в кабинете, никого не велел пускать и стал кофий пить да думать.

И ведь надумал.

Облачился в самый что ни на есть парадный фрак, ордена и медали нацепил, ленту через плечо навесил и является к послу.

Лакей-старик ему сообщает:

— Граф не изволят принимать. Больны-с.

Сыщик приказывает:

— Доложи, любезный, что прибыл я касательно украденного сервиза.

Старик аж обомлел и бегом в спальню к послу.

Через минуту граф сам вышел. И первый его вопрос был:

— Нашли?

Сыщик, глазом не сморгнув, говорит:

— Почти. Напал на след. Сервиз воры спрятали, ждут, пока скандал утихнет. Но я все знаю. Хорошо бы иметь черепок от какой-то нибудь вещи из сервиза.

— Это, — отвечает посол, — с полным нашим удовольствием.

И предъявляет тарелку.

— Вот, — говорит, — край у нее отбит был, так я склеивал, поэтому она и в кабинете лежала, а не в шкафу под стеклом.

Сыщик взял тарелку.

— Разрешите, ваше сиятельство, я ее с собой захвачу, мне легче будет опознать сервиз и уличить воров.

Посол, конечно, согласился, но тут же заметил, что через месяц собирается совсем уезжать из России и, по совести говоря, уже не верит, что пропажа может отыскаться.

— Что вы, что вы! — стал его успокаивать сыщик. — Будьте благонадежны, получите свой сервиз в целости и сохранности ровно через три недели.

И что же ты думаешь? Три недели прошло, и на пролетке подкатывает сыщик к дому посла, звонит, аж по всем комнатам трезвон пошел. Лакей открывает, не прежний старик, а другой, помоложе.

— Что, — говорит, — изволите?

— Принимай сервиз! Да осторожно переноси, — распорядился сыщик, а сам прямым ходом к графу-барону. — Так, — говорит, — и так. Ночей не спал, за ворами гонялся. И настиг.

А лакей пакет за пакетом на стол ставит.

Граф велел один пакет развернуть. Схватил тарелку — как есть та, что сыщик взял, только без трещинки.

Долго ее граф рассматривал, лупу вытащил, к окну подошел. Головой покачал от удивления, согласился:

— Точно, ничего сказать не могу.

Сыщик, конечно, каблуками щелк, граф ему руку протянул, поблагодарил. Попрощались они.

Только сыщик уехал, граф закричал лакею:

— Самый что ни на есть парадный фрак мне!

Нарядился — и во дворец. Там в тот день то ли бал, то ли прием какой назначили, и известно, что царь должен быть.

А царю уже доложили, что, мол, украденная драгоценность нашлась. Сыщик в героях ходит, министр всяческие милости ему оказывает, и уже готовят царский указ, что выражается ему высочайшее благоволение за особую распорядительность, оказанную при исполнении возложенного на него поручения.

Посол увидел царя, поклонился. А тот поманил к себе графа-барона.

— Довольны? — спрашивает.

— Очень даже доволен, — отвечает посол. — Нарочно приехал поблагодарить и попрощаться, потому как настал срок уезжать из вашей прекрасной страны. И я не могу, — говорит, — удержаться, чтобы не выразить своего восхищения вашими замечательными мастерами. Всю жизнь я собирал фарфор и знаю, можно сказать, всю подноготную о каждой фабрике в каждой стране. Но о том, какие искусные мастера на русских фарфоровых фабриках работают, того, выходит, не знал.

В кулаках-то у царя сила, а голова со слабинкой. Видно, не в ту пору его мать родила, не собрав разума, в свет пустила. Не понял он, на что ему посол намекнул.

— Я, — говорит, — так полагал, что вы меня, натурально, поблагодарить хотите за действия моего главного сыщика, а слышу — вы о каких-то мастерах распространяетесь.

Посол так это легонько, по-дипломатическому, усмехнулся, чтобы царю не обидно показалось. Они ведь, дипломаты-то — ты это из газет, поди, знаешь, — хитрющий народ. Если положение трудное, такого туману напустят, не сразу и разберешься. Вот и граф-посол тоже. Вежливенько отвечает:

— Господином главным сыщиком я просто-напросто сражен. В сервизе у меня состояло десять тарелок. Одиннадцатую я дал господину главному сыщику для опознания, а двенадцатая была потеряна еще год назад в городе Неаполе. А господин главный сыщик вернул мне сервиз с двенадцатью тарелками. Разве это не чудо из чудес?

Царь смотрит на посла и все как есть понять не может. Одно уразумел, что посол доволен, а ему только этого и надо.

Посол опять кланяется:

— Соболаговолите принять уверение в совершенном почтении, искреннем уважении, и прочее, и прочее.

Ну, в общем, как дипломаты говорят.

С тем он из России и уехал.

А ты-то смекнул, в чем дело? Пропал сервиз с десятью тарелками, а нашли с двенадцатью. Вот это сыщики, дошлый народ!

Главный-то сыщик с битой тарелкой сразу к фабриканту Кузнецову, — Матвей Сидорыч в ту пору в Санкт-Петербурге находился. Потом они вместе поскакали на нашу фабрику.

Вот тут-то Матвей Сидорыч вызывает моего отца и просит:

— Арсентий, вырежь доски для печати, и как можешь скорей. И чтобы не отличить от образца.

Отец говорит:

— Месяц на такой мудреный заказ требуется.

Сыщик руками замахал:

— Две недели на все про все, иначе я труп.

Отец тогда не знал, что это за господин из Питера вместе с хозяином прикатил, ему что труп, что не труп, — все едино. Он на хозяина косится. А Матвей Сидорыч такие ласковые слова стал говорить, каких рабочие отроду от него не слыхивали. И деньги посулил. Ну, не тысячу и не пятьсот рублей, это я, конечно, прибавил для блезиру, а четвертным поманил. Насчет государя-императора, если уж прямой разговор, тоже ради красного словца вставил. Но коли рассудить здраво, то так оно и получается, будто царь просил. Ведь сыщику министр приказал уболаговолить посла, а министру — царь самолично.

Две недели не отходил мой отец от стола, резал узор на стальных досках. Прикорнет на часок-другой — тут же и снова за работу. Вышло все тютелька в тютельку, как та тарелка. И марку немецкую отец поставил — не отличишь. Перевели рисунок, обожгли все как полагается и вручили сыщику — он у нас на заводе в доме управляющего с хозяином в карты играл, преферанс игра называется, я-то в ней не разбираюсь, а, говорят, занятная.

Сыщик, как увидел сервиз, — обомлел.

— Волшебство, — говорит, — истинное волшебство.

Повернулся к отцу и обнял:

— Хозяин тебе, Арсентий, четвертную назначил за труд. На еще от меня сотенную!

Это уж истинная правда, не прихвастнул.

И еще так сказал сыщик:

— Будешь в Петербурге, милости прошу ко мне в гости. Потому как спас ты меня, выручил из большой беды.

Кажется, сыщик — темная профессия, все с ворами да мошенниками якшается, а оценил мастерство русского рабочего человека. И не он один, вот что важно.

Побывал отец мой в столице у сыщика. Дом в два этажа, окна зеркальные, лестница мраморная. Прочитал сыщик письмо, полученное из-за границы от посла, этого самого графа-барона.

«Привезенный вами сервиз — самая главная достопримечательность моей коллекции. Таких немецких сервизов, как у меня украли, на свете в разных музеях наберется, я знаю, четыре. А подобной искусной подделки, что сотворили русские мастера, нет ни у кого. И цена ему баснословная. Что же касается украденного сервиза, то он опять у меня. В краже оказался замешан мой лакей-старик. За сим примите уверение в совершенном почтении...»

И всякие там вежливые слова, как у дипломатов водится.

Когда я услышал рассказ Арсентьича, подумал: вот как иной раз творится легенда. Ведь в запеве сказа много подлинного. Нечто подобное произошло с начальником петербургского сыского отделения Путилиным и поведено миру им самим, а затем, с его слов, еще раз знакомым сыщика, одним известным судебным деятелем. Арсентьич, конечно, любил присочинять, но, начав с этого происшествия, так все повернул на свой лад и такие события вспомнил (а может, и прибавил от себя), что первым героем стал не ловкий сыщик, а гравер, русский рабочий человек.

Е. ПЕРМЯК

Маркел-Самодел и его дети

Давнее давнего это было. Жил в те незапамятные времена Маркел-Самодел. Все сам делал. Пашню пахал, железо ковал. Домницы ставил, руду в них плавил. Рыбу ловил, на охоту ходил.

И жена у него, Маркеловна-Самоделовна, тоже сама всю женскую работу справляла. Лен пряла, холсты ткала, кожи квасила-мяла, одежду-обужу шила. Жарила, парила, варила, детей уму-разуму учила.

Дельными подрастали сыны-дочери. В отца-мать пошли Маркеловичи-Самоделовичи. Никакая работа из рук не валится. Топором машут, сохой пашут, горн раздувают, горшки обжигают. Сеют и веют — все умеют.

Только стал замечать Маркел, что наибольший сын пуще других к пашне тянется и та же земля

у него лучше родит, а второй сын от наковальни не отходит и до того славно кует, что и Маркел так не ковывал. Тоже и третий сын, Сазон Маркелович-Самоделович, все может, а рыбу-зверя лучше других промышляет. Подрос и четвертый сын, Платон Маркелович. И так-то он к топору пристрастился, что каждому брату срубил по избе, каждой сестре — по терему.

Видит Маркел, что и дочери у них в отца-мать уродились, только в каждой своя трудовая жилка бьется. Одна одежду шьет — залюбуешься, вторая холстину ткет — не надивуешься. У третьей посуда в руках улыбается. Какой горшок-чашку ни слепит — всем весело.

Задумался над этим Маркел-Самодел. Долго думал. А когда пришло время Маркелу-Самоделу со своей семьей навечно простаться, созвал всех и напутствует:

— Дети мои! Вижу я, что из всех дел каждый в своем умел. Значит, разные руки по-разному хватки, во всякой голове — свои задатки. Так и живите. Так и детям-внукам наказывайте.

Умер Маркел. Разделили сыны-дочери между собою отцовский труд. А отцовское хозяйство и не распалось. Каждый хоть и сам по себе — своим домом живет, а свою работу для всех делает. Один сын для всех пашет и сеет. Другой — для всех железо кует, руду плавит. Третий — в лесу промышляет, братьев-сестер в меха одевает.

И дочери также — кто сукна ткет, кто кожи мнет, овчины квасит, холсты красит. Тоже для всех.

Мастера, мастерицы на земле появились. Ремесла зародились. Лучше люди зажили.

От Маркеловых сыновей-дочерей внуки-правнуки пошли. Эти-то уж вовсе хваткими мастерами стали. И каждый из них в своем деле так далеко шагнул, что ветер, воду, огонь на службу поставил да на себя работать заставил. Только это из других времен сказка, тоже не без умысла сложена.

А в этой сказке умысел простой. Как станешь трудовую дорожку, счастливую тропинку искать — Маркелов наказ вспомни.

Проверь, какая в тебе трудовая жилка бьется, какая работа лучше других удается, — та и твоя.

Бери ее и дальше двигай, выше подымай. Не ошибешься. Далек пойдешь, если свое дело найдешь. Не зря старый Маркел добрым людям памятный узелок завязал:

«Каждые руки по-своему хватки, во всякой голове — свои задатки».

Как Огонь Воду замуж взял

Рыжий разбойник Огонь пламенно полюбил холодную красавицу Воду. Полюбил и задумал на ней жениться.

Только как Огню Воду замуж взять, чтобы себя не погасить и ее не высушить?

Спрашивать стал. И у всех один ответ:

— Да что ты задумал, рыжий? Какая она тебе пара? Ты что? Зачем тебе холодная Вода, бездетная семья?

Затосковал Огонь, загоревал. По лесам, по деревням пожарами загулял. Так и носится, только рыжая грива по ветру развеивается.

Гулял Огонь, горевал Огонь да встретился с толковым мастеровым человеком. Иваном его звали.

В ноги ему пал Огонь. Низким дымом стелется. Из последних сил синими языками тлеет.

— Ты мастеровой человек, ты все можешь. Хочу разбой бросить, хочу я своим домом жить. Воду замуж взять хочу. Да так, чтобы она меня не погасила и я ее не высушил.

— Не горюй, Огонь. Сосватаю. Поженю.

Сказал так мастеровой человек и терем строить стал. Построил терем и велел свадьбу играть, гостей звать.

Пришла с жениховой стороны огневая родня: тетка Молния да двоюродный брат Вулкан. Не было больше у него родных на белом свете.

С невестинной стороны пришел старший братец Густой Туман, средний брат Косой Дождь и младшая сестричка Воды — Ясноглазая Роса.

Пришли они и заспорили.

— Неслыханное дело ты, Иван, задумал, — говорит Вулкан и пламенем попыхивает. — Не бывало еще такого, чтобы наш огневой род из водяной породы невесту выбирал.

А мастеровой человек отвечает на это:

— Как же не бывало! Косой Дождь с огневой Молнией в одной туче живут и друг на дружку не жалуются.

— Это все так, — молвил Густой Туман, — только я по себе знаю: где Огонь, где тепло, там я редеть начинаю.

— И я, и я от тепла высыхаю, — пожаловалась Роса. — Боюсь, как бы Огонь мою сестру Воду не высушил.

Тут Иван твердо сказал:

— Я такой терем построил, что они будут в нем жить да радоваться. На то я и мастеровой человек.

Поверили. Свадьбу стали играть.

Пошла плясать Молния с Косым Дождем. Закурился Вулкан, засверкал ярким пламенем, в ясных глазах Росы огневыми бликами заиграл. Густой Туман набражничался, на покой в овраг уполз.

Отгуляли гости на свадьбе и восвояси подались. А мастеровой человек жениха с невестой в терем ввел. Показал каждому свои хоромы, поздравил молодых и пожелал им нескончаемой жизни да сына-богатыря.

Много ли, мало ли прошло времени, только родила мать Вода от отца Огня сына-богатыря.

Хорошим сын богатырем вырос. Горяч, как родимый батюшка Огонь. А облик дядин — густ и белес, как Туман. Важен и влажен, как родимая матушка Вода. Силен, как Вулкан, как тетушка Молния.

Вся родня в нем своего кровного узнает. Даже Дождь с Росой в нем себя видят, когда тот стынет и капельками на землю оседает.

Хорошее имя дали сыну-богатырю: Пар.

На телегу сядет Пар-богатырь — телега его силой покатится да еще сто других телег поездом повезет.

На корабль ступит Пар-чудодей — убирай паруса. Без ветра корабль катится, волну рассекает, паровой голос подает, корабельщиков своим теплом греет.

На завод пожалует — колеса завертит. Где сто человек работали — одного хватает. Муку мелет, хлеб молотит, ситец ткет, людей и кладь возит — народу помогает, мать, отца радует.

И по наши дни живут Огонь с Водой в одном железном котле-тереме. Ни она его не гасит, ни он ее высушить не может.

Счастливы живут. Нескончаемо. Широко.

Год от году растет сила их сына-богатыря, и слава о русском мастеровом человеке не меркнет. Весь свет теперь знает, что он холодную Воду за жаркий Огонь выйти замуж заставил, а их сына-богатыря нам, внукам-правнукам, на службу поставил.

Трудовой огонек

У одной вдовы сын рос. Да такой пригожий, даже соседи налюбоваться на него не могли. А про мать и говорить нечего. Рукой-ногой ему шевельнуть не дает. Все сама да сама. Дрова-воду носит, пашет-жнет-косит, на стороне работенку прихватывает — лаковые сапоги да звонкую гармонь сыну зарабатывает. Вырос у матери сын. Кудри кованым золотом вьются. Уста алые сами собой смеются. Красавец. Жених. А невесты не находится. Ни одна за него не идет. Отворачивается.

Что за чудеса?

А чудес тут никаких нет. Дело простое. Чужой травой в трудовом поле сын вырос. С руками — безрукий, с ногами — безногий. Ни сено косить, ни дрова рубить. Ни ковать, ни пахать. Ни корзины плести, ни двор мести, ни коров пасти.

Солому метал — с телеги упал. Рыбу ловил — в пруд угодил, еле вытащили. Дрова носил — живот занозил. Кто такого товарищем назовет?

Хороводы водить не зазывают. Работать напарником не принимают. Маменькиным божком, лаковым сапожком кличут. Круглым неумельником, на завалинке посидельником дразнят. Пустоцветом величают.

Малые ребятишки и те смеются. Каково это ему?

Затосковал парень, зарыдал. Так-то он зарыдал — кирпичная печь и та вздохнула. Дубовые стены избы и те разжалобились. Пол тоскливо заскрипел. Потолок насупился, почернел, задумался.

Жалеют!

А он в три ручья слезы льет, приговаривает:

— Зачем ты меня, матушка, так любила? Для чего ты меня, родимая, в безделье холила, в лености пестовала, в неумельности вырастила? Куда я теперь с моими руками белыми, квелыми, неумелыми?

Похолодела мать, обмерла. А ответить нечего.

Чисту правду ей в лицо горькими слезами сын выплеснул. Поняла мать, что ее слепая любовь злосчастьем сыновним обернулась.

Ночи не спит сын — как дальше жить, не знает. Днем места не находит. Только нет на свете таких слез, которые не выплакиваются, такого горя, которое не размыкивается, такой думы, которая не додумывается. Не зря говорят, что в тяжкий час и печь разумеет, стены помогают, потолок судит, половицы с умом поскрипывают.

Наскрипели они ему что надо, утешили. Слезы высушили, добрый совет дали.

Обул сын тяжелые отцовские сапоги, надел его рабочую одежду и пошел по белому свету бездельные годы наверстывать — заново расти.

Нелегко было рослому парню в подпасаках ходить, в двадцать один год с топором знакомство сводить, гвоздь в стену учиться бить, руки белые, квелые, неумелые на ветру дубить.

Знают только лютый мороз да жаркое солнышко, какими трудами кудрявый сын до дела дошел. Мастером домой вернулся. На ткачихе женился, тоже не из последних мастериц. Как родную ее полюбила старая мать, и больше того, когда она ей внуков родила. До того пригожие они росли, хоть на карточку снимай да в рамку ставь.

Без ума любила их бабушка, только пестовала с умом. Не как сына.

Кровью, бывало, жалостливое старухино сердце обливается, когда старшенький внук в трескучий мороз дрова пилить собирается. Сердце старухе свое твердит: «Не пускай, пожалей, ознобится», а она: «Иди, милый внук-богатырь. Дубей на ветру. С морозом спорь. Отцовскую трудовую славу своим трудом подпирай».

У внуки, бывало, глазенки слипаются, ручонки еле веретено крутят, а бабушка ей: «Ах, какая у нас тонкопряха растет проворная, да неустанная, да дреме-сну неподатливая».

Замиловать бы девчоночку, по пальчику бы ее ловкие ручки перецеловать, а старуха изъян в пряже ищет. То в нитке тонина неровна, то слабина одолевает. На изъяны укажет и хорошее заметит. Да не просто так, а дорогой бабушкиной лаской, редким огненным словом душу девчонке осветит и согреет.

Попусту, бывало, самого любимого, меньшого внука не приласкает. За работу жалуется. Не велик труд чашку подать или там лукошко с угольями к самовару поднести, а для четырехгодовалого и это за работу меряется.

Как про такого за столом при всей семье не сказать: «Меньшой-то у нас трудовым человеком растет. Веник подает. Угли подносит. Самовар караулит. Кошку кормит».

А тот до ушей от радости красный, сидит да на ус мотает и думает: «Какое бы еще дело сделать, чтобы у бабушки в чести быть?» Сам себе работу ищет, дела придумывает.

Мастерами, мастерицами вырастила бабушка своих внучат. И кудри у них к лицу вьются, и дорогая лента в косе по заслугам красуется, и лаковые сапоги по делам горят. Трудовой завязи люди. Умельники. В бабушку.

Пришла трудовая власть в нашу державу. Не дожидая до этих светлых дней старая

мать-бабушка. Только и умереть не умерла.

Когда старшего внука за доменную работу награждали, горновые-то его и спрашивают:

— В кого ты, кудряш, богатырем стал? Откуда в тебе такой жар доменный?

А тот малость вздохнул да и отвечает:

— От бабушки. В работе она меня выпестовала, в труде вырастила. От нее и огонь во мне.

А внучка-ткачиха старшему брату в подпев:

— И у меня от нее нитка не рвется — ситец смеется. Она меня звонкие нитки прясть выучила. Она солнечный уток в мою трудовую основу заткала.

А младшенький внук-хлебороб отобрал самые всхожие, самые мудрые бабушкины слова и светлыми сказками глубоко запахал их в людской памяти. Глубоко запахал, чтобы не забыли. Не забыли да другим пересказывали. Пересказывали да в живых юных душах трудовой негасимый огонек зажигали...

Рукавицы и топор

Умер старик и оставил сыновьям наследство: старшему — избу, среднему — корову, а младшему — рукавицы и топор.

Стал старший сын своим домом жить, средний — молоком торговать, а младший — топором хлеб-соль добывать да песни распевать.

Много ли, мало ли лет прошло, только покосилась у нерадивого хозяина изба, убавила молоко корова у ленивого коровника, а рукавицы да топор у радивого мастера — хоть весла тесать, хоть рамы вязать. Города возводят, мосты наводят, плотины ладят, мельницы ставят. Младший сын свой дом срубил, свою корову купил.

— Не иначе как у него заколдованный — саморубный топор, — говорит старший брат среднему, — давай утащим.

Утащили братья топор и велели ему весла тесать, рамы вязать, дома возводить, мосты наводить. А топор ни с места.

— Видно, не в одном топоре сила, — сказал средний брат. — Давай и рукавицы утянем.

Утянули рукавицы. Опять ничем-ничего.

А младший брат, мастер, новый топор да новые рукавицы купил. Снова стал работать да песенку свою петь. Так поет — только щепки летят.

— Выходит, в песне сила, — решили братья. — Давай песню перейдем.

Стали братову песню перенимать.

А песня хоть и проста была, да загвоздиста. Пелось в ней, что остер топор, да не в нем сила. Сказывалось в ней, как на умелых руках холщовые рукавицы трудовой мощной обертываются. Пускай в них денег не густо, зато не бывает пусто. Каждый день новая копеечка появляется, когда мастер старается.

Переняли братья песню. Сердцем ее поняли, и хорошо у них дело пошло.

Тоже мастерами стали. Веселые песни распевать начали. В три голоса. Артельно.

Про топор с рукавицами в песне поют, а руки славят, на верный путь добрых людей песней ставят.

Далеко нынче топор пошел. Встретишь и не узнаешь. В хитроумные механизмы вышел. Голыми руками не ухватишь. Рукавицы нужны. Да не тяп-ляп. Не домотканые. Фабричного качества, ученого ткачества, грамотного покроя, образованного шитья.

Вот оно как дело-то теперь поворачивается. Ясно?

Коли ясно — тогда ставь точку на эту строчку, переворачивай листок, давай свисток и дальше поедem. В новую сказку.

Золотой гвоздь

Без отца Тиша рос, в бедности. Ни кола, ни двора, ни курицы. Только клин отцовской земли остался. По людям Тиша с матерью ходили. Маялись. И ниоткуда ни на какое счастье надежи у них не было. Совсем мать с сыном руки опустили:

— Что делать? Как быть? Куда голову приклонить?

В четыре ручья слезы текут, в два голоса голосят. И есть отчего. Только вытье да нытье никогда делу не помогали. Так им и сказала одна старушоночка и присоветовала к кузнецу Захару сходить.

— Он, — говорит, — все может. Даже счастье кует.

Как услышала это мать, к кузнецу кинулась:

— Захар, ты, сказывают, можешь моему злосчастному сыну счастье выковать.

А кузнец ей:

— Что ты, вдова! Человек сам своему счастью кузнец. Посылай сына в кузницу. Может быть, и скует.

Пришел Тиша в кузницу. Потолковал с ним кузнец и говорит:

— Твое счастье, парень, в золотом гвозде. Золотой гвоздь скуешь, и он сам тебе счастье принесет. Ты только подсобляй ему.

— Дяденька Захар, да я же отродясь не ковывал!

— И я, — говорит кузнец, — не кузнецом родился. Раздувай горн.

Стал кузнец показывать, как горн раздувать, как мехи качать, как уголья подсыпать, как железо огнем мягчить, как клещами поковку брать. Не сразу у Тихона дело пошло. И руки ломит, и ноги болят. Спина вечером не разгибается. А кузнец за отца ему полюбился. Да и Тиша кузнецу по руке пришелся. Не было у кузнеца сына, только дочь. Да и та такая бездельница — лучше не вспоминать. Откуда ей без матери рукодельницей быть? Ну, да не о ней пока речь.

Пришло время. Тиша за молотобойца стал.

Взял как-то кузнец старый шкворень и говорит:

— Теперь давай из него золотой счастливый гвоздь ковать.

Ковал Тиша этот гвоздь неделю, другую, и с каждым днем гвоздь краше становился. На третью неделю кузнец говорит:

— Не перековать бы, Тихон! Счастье меру любит.

Не понял Тиша, к чему такие слова кузнец говорит. Не до них ему было. Очень ему гвоздь полюбился. Глаз с него не сводит. Одно горько — угас золотой гвоздь. Остыл. Потемнел.

— Не горюй, Тиша, позолотеет, — говорит кузнец.

— А когда он позолотеет, дяденька Захар?

— Тогда позолотеет, когда ты ему дашь все, что он просит.

— Ничего он, дяденька кузнец, не просит.

— А ты, Тиша, подумай. Неужели гвоздь для того выкован, чтобы без дела валяться?

— Это да, дяденька Захар. Гвоздь куда-нибудь вбить надо. Только во что, дяденька Захар, его вбить? У нас ни кола, ни двора, ни ворот, ни тына.

Кузнец думал-думал, тер-тер лоб да и сказал:

— А ты вбей его в столб.

— А столб где взять?

— В лесу выруби да в землю вкопай.

— А я ведь сроду не рубливал, и топора у меня нет.

— Так ведь ты и не ковывал сроду, а вон какой гвоздь сковал. И топор скуешь. И дерево им вырубишь.

Опять засопел-задышал кузнечный мех, искры полетели. Не сразу, не с маху, а через три дня выковал парень топор — и в лес. Облюбовал Тиша сосенку и ну рубить. Не успел бедняга и кору пересечь, как схватил его лесник:

— Ты зачем, вор-разбойник, лес рубишь?

Тиша на это по-хорошему ответил, кто он, и откуда, и для чего ему нужен сосновый столб.

Лесник видит, что перед ним не вор, не разбойник, а вдовый сын, кузнеца Захара выученик.

— Вот что, — говорит, — коли тебя кузнец научил, как золотой гвоздь сковать, и я тебе помогу. Иди в лес, делянку выруби, за работу столб получишь.

Делать нечего, пошел Тиша в лес. День рубил, два рубил, на третий день делянку вырубил. Столб получил, на отцовскую землю его снес. А земля бурьяном, полынью, репейником заросла. Некому работать на ней было. Притащил Тиша столб, а вкопать его нечем.

— Да зачем тебе о лопате горевать! — говорит ему мать. — Гвоздь сковал, топор сковал — неужели лопату не загнешь?

Дня не прошло, смастерил Тиша лопату. Глубоко вкопал столб, счастливый гвоздь вбивать начал. Невелик труд гвоздь вбить. Когда свой топор, а у топора такой обух, что плясать на нем можно. Вбил гвоздь Тиша и ждет, когда он золотеть начнет. День ждет, два ждет, а гвоздь не только не золотеет, а буреть начинает.

— Мамонька, глянь-ка, его ржа ест. Видно, он чего-то еще просит. Надо к кузнецу сбегать.

Прибежал к кузнецу, все как есть рассказал, а тот на это и говорит:

— Не может быть гвоздь без дела вбит. Всякий гвоздь свою службу нести должен.

— А какую, дяденька Захар?

— Сходи к людям и погляди, как им гвозди служат.

Пошел Тиша по селу. Видит — одними гвоздями тес пришивают, другими, самыми тоненькими, дрань на крышах прихватывают, на третьи, на самые большие, сбрую, хомуты вешают.

— Не иначе, мамонька, на наш гвоздь хомут надо повесить. Не то ржа все мое счастье съест.

Сказал так Тиша и отправился к шорнику.

— Шорник, как хомут заработать?

— Это плевое дело. Поработай у меня до сенокоса, а от сенокоса до снега. Вот тебе хомут и сбруя будут.

— Ладно, — говорит Тихон и остался у шорника.

А шорник тоже из кузнецовой породы был. Утруждать Тишу не утруждал, но и без дела сидеть не давал. То колодки для хомутов велит пристрогать, то дровец наколоть, то десятину пропахать. Не все сразу получалось. Трудновато бывало, а от хомута отступить боязно. Не может быть гвоздь без дела вбит. Пришло время — пришел расчет. Получил Тихон самый лучший хомут и полную сбрую. Принес это все и повесил на гвоздь:

— Золотей, мой гвоздь! Все для тебя сделал.

А гвоздь, как живой, нахмурился из-под шляпки, молчит и не золотеет.

Тиша опять к кузнецу, а кузнец опять свое:

— Не может хороший хомут со сбруей зря на гвозде висеть. Для чего-то висит хомут.

— А для чего?

— У людей попытай.

Не стал больше Тиша у людей пытаться, задумался. Крепко задумался о коне. Думал, думал да и надумал.

Рубить он теперь мог, шорничать тоже умел, ну, а уж про кузнечное дело и говорить нечего. «Золотого гвоздя, — решил про себя Тихон, — не скую, а подручным стоять не оробею».

Простился с матерью и пошел коня зарабатывать.

Году не прошло — прискакал Тихон на своем коне в родное село.

Народ не налюбуется:

— Ах, какой конь! И откуда ему такое счастье?

А Тиша мало на кого глядит, к столбу подворачивает.

— Ну, гвоздь, тепер у тебя хомут, у хомута конь. Золотей!

А гвоздь как был, так и есть. Тут Тихон хоть и тихим был, а накинулся на гвоздь:

— Ты что, ржавая твоя шляпка, надо мной издеваешься!

А на ту пору у столба кузнец случился:

— Ну что тебе, Тихон, бессловесный гвоздь сказать может? Не золотеет — значит, еще чего-то просит.

— А чего?

— Мыслимое ли дело, чтобы столб, гвоздь, хомут да конь под дождем мокли!

Стал Тиша столб крышей покрывать. Покрыл, а гвоздь не золотеет. «Видно, мало ему одной крыши», — решил про себя Тиша и принялся стены рубить. Теперь-то уж он все мог.

Долго ли, коротко ли рубил Тиша стены, а гвоздь как был, так и есть.

— Да позолотеешь ли ты когда-нибудь? — крикнул в сердцах Тихон.

— Позолотею. Обязательно позолотею.

У Тихона глаза на лоб полезли. До сей поры гвоздь молчал, а тут на — заговорил! Видно, в самом деле не простой он сковал гвоздь. А то, что кузнец в это время на крыше лежал, Тихону невдомек. Молод еще был, не научился еще сказки, как орехи, раскусывать да ядра из них выбирать. Со скорлупой глотал.

— Чего же тебе еще, гвоздь, надобно?

На это вместо гвоздя конь Тише ответ проржал:

— И-и-хи-хи... Как мне жить без сохи!.. И-и-и...

— Да ты, Буланко, не ржи так жалобно. Если уж я тебя заработал, так соха будет. Сам лемехскую и оглобельки вытешу.

Сковал, вытесал, поперечины наладил, а на гвоздь не идет смотреть. Не до того как-то стало. Другое в голову вошло.

Коли гвоздь хомут попросил, хомут — коня, конь — соху, надо думать, соха пашню запросит.

Запряг Тихон коня в соху. Конь ржет, соха пласт режет, пахарь песенки попевает.

Народ в поле высыпал, на Тишу глядит. Матери девок-невест вперед себя выпихивают. Авось какая приглянется! И кузнецова дочка тут же, на пашне. Так и ходит за ним, как галка по борозде. Нечесаная, немытая.

— Тишенька, возьми меня замуж! Помогать тебе стану.

Тихон даже шарахнулся от этих слов. Соха в сторону вильнула. Конь не по-хорошему озираться начал, кузнецова страшилища пугается.

— В своем ли ты уме, ворона? — говорит ей Тихон. — Кому ты такая нужна! Разве на огород — ворон пугать. Так у меня еще и огорода нет.

А она:

— Я тебе посажу огород, а сама потом пугалом стану, только бы видеть тебя, Тишенька...

Несуразными показались ему такие слова, а к сердцу припали: «Ишь ты, как любит! Пугалом соглашается быть, лишь бы видеть меня».

Ничего не ответил кузнецовой дочери, к кузнецу пошел.

А кузнец его давно поджидал:

— Тихон, чего я тебе сказать хочу: твой счастливый гвоздь завистники вытащить хотят да в свою стену вбить.

— Это как же, дяденька Захар? Что делать теперь? Не иначе, что караулить надо.

— Так, милый сын, так, — поддакивает кузнец. — Только караулить как? Дождь осенью. Снег зимой. Избу ставить надо...

А Тихон ему:

— Я только подумал, а ты уж сказал. Пойду избу рубить. Топор у меня есть, силы хоть отбавляй. Никакого дела не боюсь.

Опять высыпал народ. Опять невесты гуртом. А он рубит — только земля вздрагивает да солнышко смеется. И светлому месяцу было на что поглядеть-порадоваться. Тихон и ночи прихватывал.

Пришла осень. Сжала вдова хлеб. Тихон обмолотил его, а конь на базар свез. Утварь всякую в новый дом приволокли. А гвоздь не золотеет. И на душе как-то невесело.

— А отчего-почему, милый сын, на душе невесело?

— Один я, мамонька, вперед других выскочил. Дружков опередил, товарищей оставил. Себе гвоздь вбил, от них счастье скрыл.

— Да ты что, Тиша? Всякий сам своему счастью кузнец. Так ведь тебя Захар учил?

— Так-то оно так, — отвечает сын. — Только дяденька Захар и про то говорил, что на миру и смерть красна, а в одиночку и счастье плесневеет. Мне все помогали: и кузнец, и шорник, и лесник. А я кому?

Сказал так Тихон и пошел к дружкам-товарищам. Кому верное слово скажет, кому добрый совет даст, а кому и своими руками подсобит. Вдове крышу покрыл. Старику сани справил. Лентяя усовестил. Юнцов к делу приставил.

Зазолотел гвоздь! Со шляпки начал — до середины дошел. Счастье весельем в новый дом заглянуло, дружбой людской зацвело.

Не нахвалится народ на Тихона. До того дело дошло — его, неженатика, по батюшке величать начали, на миру выкликать. А гвоздь день ото дня пуще горит.

— Теперь, — говорит кузнец, — только жениться — не ошибиться. Без огня в избе светло будет.

— А какую-чью ты ему дочь присоветуешь, чтобы ошибки не было?

— Ровню.

— А кто ровня?

— Моя Дунька, — говорит кузнец.

— Ах ты, чумазый мошенник! — взъелась вдова. — Эта кикимора ему ровня? Немытая, нечесаная, к делу не приученная? Она ему ровня? Ему, маковому цвету, золотым рукам, богатырским плечам, налитому телу? Да разве это дело? Слыхано ли, чтобы орел галку замуж брал?

— А кто, вдова, его орлом сделал?

— Как кто? Гвоздь!

— А кто гвоздь ему подсобил сковать?.. Кто?

Тут вдова вспомнила все, и совесть в ней заговорила. Совесть говорит, и любовь материнская свой голос подает. Жалко ей на этакой неумехе сына женить.

Жалость в левое ухо нашептывает вдове: «Не губи сына, не губи». А совесть в правое ухо свое твердит: «Без матери кузнецова дочь росла, неряхой-непряхой выросла. Он твоего сына пожалел, как тебе его дочь не приголубить!»

— Вот что, кузнец, — говорит вдова. — С первым снегом Тиша на заработки повезет дружков-товарищей, которым он не два, не три десятка золотых гвоздей вбил. Пусть тогда твоя Дуня ко мне приходит. Да скажи, чтобы она мне ни в чем не перечила.

Выпал первый снег. Повез Тихон дружков-товарищей на заработки — гвозди золотить. Явилась Дунька ко вдове.

— Слыхала я, Дуняша, будто тебе охота моему сыну приглянуться.

— Уж так охота, тетенька, так охота! — заливается черномазая Дуня слезами и грязь по лицу размазывает. — Себя бы наизнанку вывернула, только бы он с глаз долой не прогонял.

— Ну, коли так, будем стараться. Я ведь, Дунюшка, как и твой отец, колдую, когда придется.

Сказала так вдова и подала Дуне веретешко:

— Неказистое оно, Дуня, а силу большую в себе прячет. Дед мой как-то бабу-ягу в лесу поймал, порешить хотел. А она от него этим веретешечком откупилась. Сильное веретено.

— А в чем его сила, тетенька? — спрашивает Дуня и на веретешечко косится.

Вдова на это и отвечает ей:

— Если этим веретешечком спрясть нитку тонкую да долгую, то кого хочешь этой ниткой к себе привязать можно.

Тут Дуня повеселела и хватить веретено:

— Давай, тетенька, я прясть буду.

— Что ты! Разве такими руками немывыми да с такими волосьями нечесаными можно пряжу начинать? Беги домой, умойся, оденься, в баньке выпарься, тогда и прясть будешь.

Сбегала Дуня домой, умылась, оделась, выпарилась — и красавицей пришла к вдове.

Вдова чуть с лавки не упала — и ну обнимать да целовать Дуню:

— Скажи на милость, какая ты! Давай прясть.

Села Дуня прясть, а веретешко не вертится, нитка не крутится, куделя бугром-комом тянется, а слезы, как жемчуга, катятся.

— Ничего, ничего, Дунюшка. Так ли мой Тиша ковать учился, так ли лес рубил, так ли хомут зарабатывал... Пряди!

День прядет, два прядет. На третий день нитка получаться стала.

— Гляди, тетенька. Теперь привяжу.

А вдова посмотрела на гвоздь, ухмыльнулась чему-то да и говорит:

— Такой ниткой не привяжешь. Из такой нитки только мешковину ткать. Доходи до дела.

— А когда я, тетенька, до дела дойду?

— А тогда дойдешь, как веретешечко золотеть начнет.

Принялась Дуня опять за работу. Моток за мотком прядет, а веретешко как было, так и есть. За окном уж морозы трещат, метели метут, а веретешко не золотеет.

Испряла Дуня всю куделю и залилась слезами.

Вдова к ней:

— Не горюй, милая дочь. Веретешечко-то, видно, не лучше гвоздя. Мало, значит, ему одних ниток. Холста требует. Давай ткать.

— Что ты, тетенька! Нитки изоткем, чем тогда я Тишу к себе привяжу.

А вдова ей в ответ:

— Нитка в мотке — нитка, а в холсте — сила.

К весне Дуня изоткала все нитки. Много холста получилось. Только не знает Дуня, как с холстом быть.

— Рубаху, Дунюшка, надо из холста сшить. Как наденет рубаху, так и твой.

Принялась Дуня за новое ремесло. Где вдова ей подскажет, где сама догадается.

На славу рубаха сшилась, только глаз остановить не на чем: холст и холст. Не стала тут Дуня совет с вдовой держать — сама придумала, как рубаху изукрасить. Накупила шелку-бисеру, серебра-золота — и ну рубаху расшивать-вышивать.

Не руки, не разум, а сама любовь по рукавам, по вороту жаркий узор выводила. Маком цветет он. Золотом светит. Серебром отсвечивает. Бисером горит.

Глянула вдова на рубаху и чуть языка не лишилась. Глаза ломит узор, сердце щемит.

«Неприменно веретешко позолотеть должно!»

Схватила она веретешко да тайно к кузнецу прибежала:

— Сказывай, разлюбезный мой сват, черномазый ты мой мошенник, чем гвоздь золотил?

— А тебе зачем?

— Веретешко позолотить надо.

— Аль и моя до дела дошла?

— Да приди погляди, какой узор она вышила! Царевича ослепить можно.

Кузнец открыл сундук, вынул снадобье и давай золотить веретено.

— Да ты не жалея позолоты, хитрец. От конца до конца золоти. Стоит она того, — говорит вдова и кузнеца торопит: охота скорее Дуню порадовать.

Позолотили веретешко, и оба, как молоденькие, вприпрыжку да вскачь рубаху глядеть побежали.

Прибежали ко вдовьему дому, глядят, ворота полые, во дворе Тишин конь стоит. Вошли в избу, а в избе Тихон в новой рубахе красуется и с Дуни глаз не сводит.

Тут вытянул кузнец из стены золотой гвоздь, вынула из рукава вдова золотое веретено да и обручили ими жениха с невестой.

Народищу, дружков-товарищей — полон двор. Все сбежались. Всем любо Тихоново счастье видеть... Потому что он никого золотыми гвоздями не обошел и кузнецову хитрую позолоту трудовой правдой повернул. Для всех. Для каждого. Ни от кого не скрыл. Приходи и бери! Вбивай свой золотой гвоздь, если руки есть...

И. ЕРМАКОВ

Кузнецы

Веселое заведение — кузница! Веселое и до зарезу необходимое. Поищи-ка такую деревню, где не дымил бы, не искрила бы она, кузница, малая индустрия державы, крохотные Уралы, разбросанные на тысячи километров окрест по колхозно-совхозной земле?!

Был бы металл да уголек, нашлась бы бычья кожа для меха да звонкая наковальня — железная лечебница будет. Без нее сироты... Без нее захромает конь, рассыплется телега, изоржавеет плуг, без нее сам «дядюшка» трактор пардону запросит. Трудно перечислить все беды-злосчастья, угрожающие деревне, не стой там на отшибе прокопченная амбарушка, созывающая к себе бойким заутренним звоном народ честной.

Пронзительно голосит забияка-молоток, басит пудовая матушка-кувалда, взбивает прострельную искорку горн, кряхтит и плющится жаркая поковка, а посреди этого огненного бой-дела — Он, Мастер, Умелец, Работяга-кузнец, чей инструмент-молот пролегал с угла на угол по державному гербу Родины.

Слышал я про один иноземный обычай, по которому путь героя усыпается лепестками роз. Познакомившись с кузнецом Кузурманьичем, я задумался: не драгоценнее ли и не щедрее ли наш советский обычай, при котором путь — нет, не героя — просто честного мастеровитого человека украшают добрые и мастеровитые же слова. Розы вянут, доброе слово из неподкупных уст народа-труженика не исцветает. Это о нем, о Кузурманьиче, записал я

неофициальные живые речения, почти в пословицы скованные, сиюминутную молвь:

«Конь сам ему копыто протягивает».

«Седьмой разряд... Ежа без чертежа может...»

«К святому дню кулич откует».

Вот так в словесности... Густо, щедро, с «наваром», «присадисто»! Тоже — ежа без чертежа... А послушайте, как говорит о своем мастерстве Кузурманыч. Скромно. Скупо. И тоже «наваристо»:

— У кузнеца рука легка — была бы шея крепка...

— Ну и как она, шея? — спрашиваю.

— Дюжим пока, — отвечает.

Кузнец высок, жилист, крут в движениях. Немногословен и вдумчив при разговоре. Выслушивая собеседника, вздымает лохматую правую бровь. В коже лица прижились синеватые звездочки охладевшей окалины. Постоянное горячее соседство горна и раскаленных тяжелых поковок наложило на подбородок и скулы льготный круглогодичный загар. Серые, как железо в изломе, глаза. Улыбается редко, зато уж не через кривую губу. Весь твой.

Девятилетним пошел Кузурманыч к отцовскому горну, допущен был раздуть-веселить огонь. На тятюку люди смотрели почтительно и с уважением. Невелик богач — три пуда железа и в наличности, а первыми торопились картуз приподнять: Мастер идет.

Кузнец и кузнечонок любили, во страсть, голубей. Идут от огня, чумазые, углем и железом от них навеваает-попахивает, а пестрые, сизые, белокипенные — из-под всех застрех над кормильцами... Мелко-трепетно бьют крылышками над картузами, спешат занять местечко на плечах, на протянутый палец лепятся.

— Васька, — спросил однажды кузнец кузнечонка, — ты чуешь ли, когда тебя голубь когтем по ладошке скребнет?

— Чую, тятя.

— А я ни рожна. Кожа вся отбронела.

Вскоре «отбронела» кожа и у Василия. Полюбилось, взгордило тятюкино крутоплечее мастерство. На всю жизнь унаследовал.

— Василий Константинович! А кем был ваш дед?

— Тоже кузнецом.

— А прадед?

— Кузнецом.

— А прапрадед?

— Вот тут затрудняюсь... Не могу точно сказать.

Общая наша беда. Дальше прадедов корня не помним. А ведь возможно, пращур кузнеца Кузурманыча, того самого, что рубашку цилиндра на наковальне сейчас выворачивает,

возможно, что пращур еще вещему Олегу коня ковал, меч закалял? Не бережем родословную — не княжеского рода. Впрочем, у Кузурманыча лично все на виду. В трудовой книжке, в грамотах...

Горы железа за сорок пять лет перебрал, вагоны угля ссыпал малым совочком в жаркие солнышки горнов.

По пенсионному законодательству люди «огненной» профессии уходят на пенсию в пятьдесят лет. Испытал и это. Три месяца выдюжил, а на четвертый открыл он в себе две болезни: «печаль плеч», называл он одну, а вторую — «закись всех мускулов». Пришел в родной механический, попросил «на полчаса» передника и... «У кузнеца рука легка...»

Люди, которым по каким-либо причинам не довелось воевать или удалось не воевать, одинаково равно не любят об этом распространяться, нести информацию. Кузурманыч же, с приметною даже гордостью, заявляет: не воевал.

— Броневой кузнец. На брони был. Однажды, правда, призвали, но вскорости возвратили. Армия, говорят, по генералу плачет, деревня — по кузнецу. Всю войну трактора ремонтировал...

...Из толстого круглого железа выгибал Кузурманыч какой-то замысловатый вал для трансмиссии. Молотобойцем у него новичок. Штрафник. Не поладил парень с автоинспектором — и вот на шесть месяцев... Кувалдой наградили. Он потеет еще и одышечка, Кузурманыч же знай утешает:

— Ничего, парень. Поначалу у меня все штрафники потеют. Это после вольготной жизни. Вот побалуешься с месяц, — указывает он на кувалду, — спружинишь, собьешь тело — сушей будешь. И животик уйдет.

На порожке сидит, пригорюнившись, еще один молодой шофер. Вчера он так «нежно» разъехался со встречным цельнокузовным самосвалом, что крючки бокового борта с заводскими корнями повывдрало. С надеждой и тихою робостью поглядывает парень на Кузурманыча. Томится. Вздыхает. Рядом с ним восседает дедок с потной бородкой. Этот принес в кузницу диковинных размеров лосиный рог. На широком, словно лопата, материке с дюжину могучих отростков.

— Ежели вот здесь дыру, да здесь, да здесь, — размечает дедок находку, — да ввинтить в дыру по железной ножке, знаешь какое сиденье будет! — громко втолковывает он «свое разумение» шоферу, следя глазом: слышал ли кузнец? — А на этот отростель руку складывать, — переходит на выкрики дед. — Что ты, брат! Я сразу увидел — кресло мне получается!

— На стульях тебе не сидится, — недобро буркает молодой шофер.

— На стульях — всяк дурак... А тут сиди в лосином рогу и покуривай! Не на гниль его зверь отращивал... В дело произведу.

Дедок — не исключение. Одолевают кузнеца ширпотребовские заказы. Кочергу хозяйшке негде купить. Тому скребница для обуви перед крылечком понадобилась, этому — пилу окоротить, третьему — крюк для люльки загнать... Да мало ли мелконоккой деревенской нужды, которая ни в одном ГОСТе не значится?! Но это все после работы. А сейчас срочно потребовалось сцеп для автомобильной тележки поправить.

Огромная, похожая на рельс, железяка ложится в горн. Кузурманыч усиливает дутье, подсыпает угля, шурует жигалом. Ни одного лишнего движения. Инструмент он берет не глядя, из-за спины. Железяка на наковальне. Дерзай, пока горячо! Навесь!!!

Молоток Кузурманыча к поковке пока не притрагивается. По соседству пока «дирижирует». Бочком эдак, резвым железным бесиком по наковальне позвякивает, боевые места указывает, молотобойца затравливает.

— Дай-дай-дай! — кувалду науськивает.

— Нна!! Нна-ах!!! — крякает кувалда.

— Бог мой! Ох! Ах! — вздыхает наковальня.

Поковка орет, визжит, стонет, всхлипывает: попробуйте-ка между молотом и наковальней... Как хотят ее, так и бьют, куда хотят, туда и гнут. Вот на нее опускается еще и молоток самого Кузурманыча. Молоток — кувалда, молоток — кувалда, молоток — кувалда...

— Ох! Ах! Бог мой! — частит наковальня.

Красивая, сильная, затравчатая работа!

Поковка снова ложится в горн. Кузурманыч проворно шурует жигалом уголь.

— Да покури ты, парнишко, иди, покури! — зовет кузнеца дедок. — Не грешников, чай, поджариваешь!..

— А некоторых бы поджарил, — кивает кузнец на шофера. — На ползарплаты эдак поджарил бы...

Молодой грешник не знает, куда упрятать глаза.

— Зачем пожаловал? — спрашивает кузнец дедка-рогоносца.

Тот с готовностью указывает на лесную находку:

— Ежели вот тут дыру... Да вот тут...

— Только волк из сказки ко мне не приходил еще... не просил, чтобы я ему голос козлиный сковал, — разводит руками кузнец.

— А то не сковал бы? — льстит открыто дедок. — Саньке Уланову шпынь в протез вставил — как Конек-Горбунок бегают...

Пора. Поковка искрит. Снова в молоты.

— Строговат? — спрашиваю я шофера.

— Кузурманыч-то? — вскидывает пушистые, как одуванчик, ресницы шофер. — Конечно. А как еще с нами?.. — покаянно вздыхает «грешник».

— Ему сделает, — подключается к разговору дедок. — Машина же стоит. Хоть после работы, а сделает. Это знаете что за человек? — кивает на Кузурманыча дед. — Свое право выковал! Кувалду ему на плечо — и иди в коммунизм... Кувалда вместо пропусса!

Гудит горн, плюется горячей окалиной железо, сладкой гарькой пахнет удалой, жизнерадостный воздух кузницы...

— Дай-дай-дай!.. — науськивает молоток.

— Нна-ах-х!.. Нна-ах-х!! — ахает кувалда.

Дед с осторожностью допрашивает: «Быть или не быть лосиному креслу?» От кузнеца ни приветов заметного, ни отказов конкретного. А тут еще, кроме шофера, дюжая молодлица с ломом в руках к наковальне протискивается.

— Что у тебя? — спрашивает ее на коротком досуге кузнец.

— Затупился. Все жало помялось. Лед колю в молоканку — одни только брызги...

— Это моментом.

Нагревали. Плющили алые острия. Двугранное. Четырехгранное. Потом, по-горячему, мелкосечкой — слесарной пилой доводил и ровнял им рабочие «жала» кузнец Кузурманыч. Потом закалял. Утопит на мгновение в бадейку с водой и на воздух: «Чтоб железо не задохнулось». Напоследок совсем утопил. Забулькотала бадейка, заворчала по-кошачьи. Двугранный конец... Четырехгранный... Охлажденный и закаленный лом снова ложится на наковальню. Зачем? Ага! Василий Константинович берет напильник и с силой, с надавом проводит им по остриям. Скоргочет сталь о сталь. Размахнувшись, кузнец ударяет двугранным оттягом в кирпич. Кирпич — вдребезги, а рыжие искры!.. На острие лома ни блесочки, цела синева закалки.

— На! — легкой рукой протягивает он румяной молоканщице железное свое произведение.

— Творец! Ну, скажи, не творец?! — восхищается не без умысла дед-рогоносец. — Богу звезды, пра слово, ковать!..

Дедкин выкрик заставил меня усмехнуться. Вспомнил я еще одного кузнеца. Если Кузурманыч воистину только творец, то псковский коллега его был еще, в придачу, и критиком. «Куда целишь, тетеря!» — слышался мне из далекой, далекой военной весны возмущенный его тенор. * * *

Разоренная, сожженная Псковщина.

По ее земле шла на передовую маршевая стрелковая рота. Чуткое к голосам войны, бдительное солдатское ухо издали, за двадцать почти километров, улавливало глуховатый бас фронтовой канонады, угадывало ее утробное, густое рычание. Окрест лепетали звонкие болтунишки-ручьи, захлебывались прибылой водой захмелевшие лесные речушки, свистела, чирикала вешняя птаха в вершинах деревьев, но не чуяли птичек солдатские уши. Дальний гул, прикоснувшийся к ним, подминал и обесценивал прочие легкие, пустяковые звуки. По неласковой апрельской дорожке шла навстречу канонаде стрелковая маршевая.

Лес кончился. Завиднелись печи и трубы сожженной дотла деревеньки. В свежесрытых землянках развели военные погорельцы свои камельки, и синеватые свитки дыма метались над остывшими пепелищами.

И здесь повстречал нашу роту какой-то неожиданный, несогласный с войною и канонадой, праздный, ухарский звук.

— Журавль, — предположил кто-то из солдат.

— Какой те журавль! Ишак так ревет.

— Откуда бы тут ишак взялся? Кавказ тоже нашли...

Звук доносился отчетливей, громче, и вскоре рота увидела... кузницу.

И настолько диковинной была эта кузница, что сопровождавший маршевую роту лейтенант неожиданно для себя скомандовал:

— Привал.

Случись это в другой обстановке — выбрал бы солдат бугорочек посуше, положил бы под сапоги вещмешок (кровь бы от ног «откатила») и, блаженно сомкнув глаза, отдыхал, отдыхал бы... Сейчас же, окружив плотным кольцом небывалую кузницу, глазели сюда рядовые, усиленно кричал сержантско-старшинский состав, а лейтенант, расстегнув планшетку, что-то торопливо записывал в походный дневник. А может, и зарисовывал...

На подстиле из кирпичей стояла чугунная печка-буржуйка. Она заменяла горн. А мехи... мехами служил здесь трофейный немецкий... аккордеон. В перламутровой его душе была просверлена дыра, в которую башковитый псковитянин втиснул резиновый шланг. На втором, на «горячем» конце шланг соединялся с обрезком змеевика от самогонного аппарата. Выпрямленная трубка змеевика соседствовала с огнем. Она наглухо была замурована в поддувало печурки. В метре от печурки на охалке сосновых веток сидел мальчуган лет двенадцати. Он нагнетал воздух, вел дутье. Парнишка вспотел... Растягивая аккордеон, малый нажимал сразу до десятка клавишей. Вернее, столько, сколько помещалось под его ребячьими пальцами. Инструмент ревел, выл, вопил всеми невысказанными голосами, до тех пор вопил, пока его блестящая утроба предельно не заполнялась воздухом. После этого мальчуган попускал клавиши и потихоньку сводил мехи. Нагнетенный воздух высвистывал, бил струей через шланг, через змеевик и в печурку. Березовое уголье жарко, яростно вспыхивало. Малиновели у печурки бока.

— Ну и... артисты! — восхищенно выдохнул пожилой солдат. — Действительно, голь на выдумку...

Возле наковальни, закрепленной на комлеватом стояке-чурке, хлопотал расторопный старикашка в дореволюционном еще картузе. На роту он не обращал никакого внимания, словно не две сотни глаз жадно следили за каждым его движением, а просто... ну... прилетела любопытная трясогузка... Повертится и улетит. Он деловито совал через крышку печурки в огненное ее жерло заготовки, подсыпал угольков, пробовал ногтем скудненький инструмент, подправлял сползающий на глаза козырек картуза.

Зато молотобоец потупился.

Это была девушка лет семнадцати. Прядка волос выбилась из-под солдатской ушанки, трепетал и разметывал ее апрельский молодой ветерок. Природа ли наградила девушку несмываемым ярким румянцем, молодые ли парни из стрелковой роты смутили ее... Она горела. Пылала. Пальцы ее слепо и торопливо перебирали шершавый заструг рукоятки кувалды. Над верхней губою росинками выступил пот.

Дедка же как ни в чем не бывало добыл клещами из печки заготовку боронного зуба, уложил ее на наковальню и бодреньким петушком кукарекнул, скомандовал:

— Ну-ка, Сонюшка, уважь... Припечатай.

Девушка отшвырнула вдруг рукоятку кувалды, слепо и немо протиснулась через плотное кольцо рядовых, без оглядки помчала к землянкам.

Рота смотрела ей вслед.

— Совесть, — хихикнул дедок. — Удару у нее еще настоящего нет — вот и совесть.

— Тяжело ей с кувалдой-то, — укоризненно пробурчал пожилой солдат. — Мужиковское дело — и то по выбору... Не на всякого...

— Зна-а-а-ю!.. Зна-а-а-ю... — пропел дедок. — Да ведь весна! Она ведь не два раза в году.

Умирать собирайся, а нивку паши! Сеять, чего-ничего, надо — вот и куем под господней крышей. Три скомороха — четвертый кардион, — подмигнул псковитянин пожилому солдату.

Мальчуган фыркнул.

— Над прозвищем моим насмехается, — пояснил роте дед. — Меня в партизанском отряде за эту кузню Кардионом прозвали. Смейся, смейся, глупый, — повернулся дед к мальчугану. — Одна нам с тобой слава. Я — Кардион, ты — Кардиненок, хе-хе-хе... Дуй знай!

Инструмент заревел с новой силой.

— А ну-ка, граждане солдаты! У кого рука не отсохла...

И дедок указал на кувалду.

Рота ковала боронные зубья. Мастер ловко выуживал из буржуйки раскаленные заготовки, лихо наигрывал молотком по наковальне и на каждый замах кувалды пел-приговаривал:

— В горрр-ряченькое! В горр-ряченькое!

Стреляла искрами буржуйка, ухала кувалда, подвывал аккордеон, приплясывал мастер.

— Серьга, — крикнул он через плечо мальчугану, — бросай дуть! Беги, тащи эту железу от вашего турника. Сошников нет. С Сонюшкой мне ее не оттянуть...

Дед командовал ротой.

Рота оттягивала сошники.

Кувалдой завладел длиннорукий солдат Вася Хиря, по прозвищу «Художественный Свист». После очередного нагрева дед насторожил на наковальне неразмятый еще конец турника и скоренько бормотнул:

— Давай, парень!

Кувалда с грохотом, со звоном сыграла по клюву наковальни.

— Те-те-ря-я!

Мастер поднес к Васиному носу свой молоток и свирепо, досадливо покрутил им перед его изумленными ноздрями:

— Куда целишь, те-те-ря? В железо бей! В горяче... А не для звону... * * *

У меня материал — слово.

Несогретое в горне души, оно — как холодное железо: шершавое, упрямое, неподатливое. Не тронь холодное — один звон.

Но, если вдруг... слово засветится, если почувствуешь, что оно горячее, обжигается — не медли! Укладывай его скорее на «наковальню» и бей, заострай, закаливай, доводи!

Если ты отковал лом, даже лом, — опробуй, по Кузурманьчу, дробит ли он кирпич, не мнется ли у него «жало», годен ли он колоть лед, долбить мерзлоту?

Вырастил розу — просмотри лепестки: не затаилась ли в них тля?

Дерешь больные зубы — не оставляй гнилого корня и... береги здоровые.

А если не получается, брось немудрящий свой инструмент и беги. Беги, как Сонюшка... Народ незлобиво скажет в твой след: «Совестится. Удара у него еще настоящего нет».

А совеститься, брат, надо. Не то поднесут тебе трудовые, мозолистые руки молоток, клещи ли, под самодовольные ноздри и уже не тенорком, а доподлинным басом скажут: «Куда целишь, тетеря!»

...Учите, учите меня, кузнецы! Куда бить. Во что целить. Как горячим выхватывать слово из «горна»...

В. ПОПОВ

Сказ о заповедном кладе

Щедра и богата наша кубанская земля. Родит она и пшеницу, и рис, и подсолнух, и плоды разные. Что ни посеешь — всего богатый урожай получишь.

И в горах прикубанских большие богатства скрыты. Есть там и железо, и уголь, и золото. А особенно много нефти. И нефть особенная, такая, что хоть сразу бери и заправляй ею тракторы да автомашины.

А распоряжается всеми этими богатствами старик Горовик, из себя маленький, сгорбленный, седые брови на глаза нависли, а взгляд зоркий, строгий. Взглянешь на него, подумаешь — самый обыкновенный дед, что баштан караулит.

Но старик Горовик совсем особенный. Живет он на земле уже многие сотни лет, а все такой же, ничуть не меняется. И владеет он великой силой: захочет — даст людям земные богатства, захочет — не даст. Но не по капризу он это делает, а по справедливости.

Еще в стародавние времена рыли казаки глубокие колодцы и черпали из них ведрами легкую золотистую нефть. Шла она и в каганцы, и на распалку печей, и на смазку ходов тележных, чтоб не скрипели.

Начнут, бывало, казаки нефтяной колодец рыть, а к ним вдруг подходит какой-то седой старик — собой неприметный, одет в чекменчик старенький, на ногах сапоги яловые, на голове кубанка черного курпея. Подойдет старичок к казакам и спрашивает:

— К чему колодец роете, станичники?

— Да вот, дедушка, хотим до нефти докопаться.

— А зачем она вам?

— Как зачем? И на топливо, и на каганцы, и колеса смазывать нужно...

— Добре, добре, станичники, — скупой улыбнется старичок в седые вислые усы. — Только, сдается мне, что не здесь вам копать надо...

И указывал другое место. Укажет и пойдет дальше, опираясь на ореховый батожок. Послушают казаки старика, начнут копать в указанном месте — и точно, обязательно на богатую жилу нападут...

Услыхали заграничные буржуи про кубанскую нефть и целыми толпами на Кубань нагрянули. Стали земли покупать, спорить начали, кому какой участок забирать. Но всех перехитрил

американский Мистер. Сунул Мистер пачку денег кубанскому атаману, тот и передал ему те земли, где казаки нефть доставали. И даже в Петербург самому Николашке-царю отписал, что-де прибыл из-за моря-океана добрый Мистер, хочет нам, бедным, помочь нефть из земли доставать. А Мистер вслед подарочек в Петербург послал. Вот и вышло решение отобрать у казаков нефтеносные земли и отдать их этому самому Мистеру.

Стал Мистер дело разворачивать — инженеров своих доставил, машины кое-какие привез, за гроши рабочих русских нанял и давай нефтяные вышки ставить. И такая жадность охватила Мистера, что всех рабочих замучил, по целым суткам работать заставлял.

И вот идет раз этот самый Мистер по своему промыслу, за ним инженеры, подрядчики всякие вышагивают. И вдруг подходит старичок — сгорбленный, неприметный, только глаза строгие из-под бровей поблескивают. Подошел и спрашивает Мистера:

— Зачем тебе нефти столько? Куда ее девать будешь?

Удивился Мистер, выкатил свои рачьи буркалы, но все же ответил:

— Ты есть очень глупый! Я эту нефть продавать буду, большие деньги себе наживу...

Насупил старик косматые брови и говорит:

— Ничего у тебя не выйдет! Не достать тебе нефти из нашей земли.

Разозлился Мистер, хотел упрятать старика в каталажку, но тут шепнул кто-то из приказчиков русских, что, мол, этот дед все места знает, где много нефти. И сразу Мистер стал добрым и обходительным. Подхватил деда под руку, стал рассказывать, как он любит русский народ, деньги американские стал предлагать старику, чтобы тот ему показал заповедные места.

А старик пощупал деньги, покачал головой, вытер руку о пол чекменя и отвечает:

— Не к чему мне твои бумажки! Печку разжигать древесной корой способнее... А любовь твою к русским я вижу — сколько людей ты уже в гроб вогнал непосильной работой. И говорю я тебе по-хорошему: уходи с нашей земли, не даст она тебе своего богатства...

Сказал — и пошел себе к лесочку. Мистер даже задохнулся от злости. А потом как закричит своим охранникам:

— Взять этого деда! Он есть самый главный русский бунтовщик! Я его в Сибирь загоню.

А старичок как раз в лесочек вошел. Кинулись за ним охранники, сам полицейский пристав помчался. И только вбежали они в лесочек — вдруг навстречу им здоровенный медведище прет. Идет, кусты ломает, ревет сердито, в открытой пасти клыки сверкают. И пристав и охранники наутек пустились. Прибежали в караулку, ружья схватили — и опять в лесок. Ходили, ходили — ни старика, ни медведя не нашли...

С того дня стали оскудевать нефтяные богатства. Исчезла нефть из колодцев. А буровые вышки начали больше воды давать, чем нефти...

В революцию прогнали Мистера ко всем чертям за море-океан. Стали хозяйновать на кубанских нефтяных промыслах наши, русские, советские люди. Трудно было вначале — ни машин, ни труб, ни разных там долотьев не было.

Как-то ставили рабочие оборудование на одной буровой. И вдруг подходит к ним старичок в старом коричневом чекмене с палочкой в руках. Блеснул строгими глазами и спрашивает:

— Что делаете, хлопцы?

— Вот буровую будем пускать, дедушка! — ответил один из рабочих. — Нефть нужна нашему народу, нефти требуют заводы и фабрики наши советские. Чем больше нефти добудем, тем сильнее наша страна станет.

— Добре! — повеселевшим голосом ответил старик. — Будет вам удача! Ройте амбары побольше, трубы тяните! Много нефти тут достанете!

Так оно и вышло. Ударил из этой буровой могучий фонтан, много нефти дал он Родине.

С тех пор то в одном, то в другом месте встречали нефтяники старика Горовика. И каждый раз указывал он им места, богатые нефтью.

Когда ворвались на Кубань фашистские орды, нефтяники ушли в леса партизанить. А промыслы свои, чтоб не достались врагу, взорвали. Горькими слезами плакали, а взрывали, потому что был на это приказ.

А фашистам нефть больше хлеба была нужна — без нефти и танк не пойдет, и самолет не полетит. Начали они стараться достать из земли кубанскую нефть. Привезли своих инженеров и мастеров, а наших, русских, силой работать заставляли.

И вот потеют фашисты над одной скважиной — вышку уже поставили, инструмент налаживают... Вдруг оказался рядом неприметный старичок в рыжем чекменчике и старой кубанке. Разгладил старичок вислые седые усы и спрашивает:

— Что это вы делаете, господа хорошие?

Вздрогнул фашистский инженер, который всеми работами командовал, оглянулся по сторонам. Кругом охрана расставлена — и вдруг старик какой-то возле буровой очутился. Не партизан ли?

Вгляделся фашист в старичка, а тот вроде совсем старенький, чуть на ногах стоит. Успокоился тогда инженер и говорит:

— Мы, глупый русский дед, достаем нефть для великой Германии!

— А зачем вам наша русская нефть? — тихо спрашивает старичок.

— Ты есть совсем дурак! — рассердился фашист. — Нефть нужна нам, чтобы наши танки дошли до Урала.

— Ого! — блеснул глазами старик. — Далеко шагнуть собираетесь, господа хорошие! Не видать вам Урала, как свинье солнца полуденного! Не достать вам нашей нефти!

Совсем разозлился фашист.

— Ты есть русский партизан! — закричал он. — Ты есть коммунист! Взять его! Запереть в подвал! Караулить крепко. Завтра мы его будем вешать!

Схватили фашисты старика, заперли его в подземный каменный подвал, часовых приставили. А подвал тот без окон, стены метровой толщины, двери железные.

Рано утром приказал фашистский офицер вывести старика из подвала. Один из солдат уже веревку приготовил, через сук ее перекинул, петлю-удавку наладил.

Открыли железные двери подвала, а старичка и след простыл. Спустились в подвал солдаты с фонарями, видят: и стены целы, и подкопа нет, а старик исчез. А в углу сидит здоровенная жаба, пялит круглые глаза на фашистов и бока ее колышутся, словно от смеха.

В тот же день ударил из скважины, которую ремонтировали фашисты, мощный фонтан. Да только не нефтяной, а из жидкой синей грязи. Все инструменты фонтан на сотню метров раскидал. Кого из фашистов насмерть убил, кого покалечил, кого грязью с ног до головы обдал...

Вскоре после этого наши советские войска погнали фашистов с Кубани. Стали нефтяники восстанавливать промыслы. И сразу же у них дело пошло на лад. С каждым днем стала расти добыча нашей кубанской нефти. Но, конечно, нефтяники не только старые скважины ремонтировали, а и новые нефтеносные места стали искать.

И вот один раз шел молодой парень, геолог, по горам, притомился и решил отдохнуть у горного родника. Сел на камень и горами любуется. Вдруг хрустнула ветка под чьей-то ногой. Оглянулся геолог и видит: идет к нему древний старичок. Чекмень коричневый, кубанка черного курпеля, усы седые повисли. Очень удивился геолог: кругом километров на тридцать ни станиц, ни хуторов нет, а старичок идет себе неторопливо, словно гуляет. И никакого припаса с ним нет, только батожок ореховый. Подошел старик, поздоровался, геолог его папиросой угостил и спрашивает:

— Кто вы будете, дедушка? Как вы оказались в таких глухих местах? Может, заблудились, так я вас на дорогу выведу...

Усмехнулся старик в густые усы и ответил:

— Не беспокойся, сынок! Места мне здесь все знакомые... Не один десяток лет здесь прожит, не одна тропка исхожена. Ты вот скажи мне лучше, чего сам в горы забрел? На охотника ты вроде не похож...

Рассказал геолог, что ищет он новые нефтеносные места.

— А что, или нефти стране мало? — спросил старичок. — Вроде много нефти дают наши кубанские промысла...

— Много, дедушка! А требуется еще больше. Ведь с каждым днем на заводах наших, на колхозных полях все больше и больше машин работает. А сейчас на кубанской земле все тяжелые работы в колхозах за людей машины будут исполнять. Значит, много горючего потребуется... Вот и послали меня искать нефть...

Выслушал хлопца старичок, блеснул глазами из-под косматых седых бровей и говорит:

— Доброе дело задумали! Вижу, помочь тебе требуется. Знаю я одно заповедное место, где нефти сколько хочешь. Идем, укажу...

Очень удивился геолог, откуда такой неприметный старичок про нефтеносные места может знать. Удивился, но пошел за стариком, потому что видел — серьезный дед, такой даром слово не скажет.

Несколько часов шли. Старичок с виду хлипким казался, а как зашагал, так за ним еле угонишься. Даже в пот вогнал молодого геолога.

Дошли они до одной горной долины.

— Вот здесь, — говорит старик, — нефти сколько ни черпай, вовек не вычерпаешь... Самое мое заповедное место... Передаю я его Советской власти на доброе дело... Хватит теперь нефти и тракторам, и комбайнам, и другим машинам...

Сказал так старик, шагнул в кусты орешника — и был таков.

— Дедушка, погодите! — окликнул его геолог и побежал за ним. — Как звать-то вас?

А старика словно и не бывало — ни ветка под ногой не хрустнула, ни кусты не шевельнулись...

Стали в этой долине разведку производить — и точно, нашли запасы самой лучшей нефти. Теперь там промысла выросли — не меньше сотни вышек нефтяных стоит, поселок целый построен...

А старик Горовик, говорят, и теперь в наших горах появляется. То залежи железа нашим советским людям укажет, то скажет, где медная руда хранится.

Много у него по горам разных заповедных кладов для добрых хозяев спрятано...

Ю. ЛОДКИН

Хрустальная радуга

Небось слышали, как в прежние времена день духов праздновали. В тот день под вечер только старики да малые детишки дома оставались, а все, у кого хоть искорка в сердце осталась, спешили в бор сосновый к озерцу, к дальней мельнице. Костры там пылали, летели от костров в небо искры, смешивались те искры с звездами яркими и было еще светлее у озерца. Девки статные да красивые хороводы водили, парни через костры прыгали, а там, где более всего народ толпился, — пляс удалой шел. А где плясуны, там и Гошка Дубов — мастеровой с фабрики хрустальной. Коль Гошка входил в круг, то и девки свои хороводы бросали: посмотреть было на что. Бывало, пойдет с перекатами, с перехватами, рук и ног не видать. Пляшет и в этот раз Гошка, а сам по сторонам поглядывает: какую бы девку в круг вызвать? — думает. Смотрит, стоит девица, не видал ее раньше мастеровой. И подумать Гошка не успел, приглашать ее в круг аль нет, а ноги уж сами поднесли парня к девке. А она стоит, глаза опустила, платок в рученьках теревит. Так, может, и стояла бы, да вытолкнули ее в середину круга. И ожила тогда дева. Взмахнула платком, вскинула голову, уколола Гошку взглядом и пошла по кругу, будто лебедь-птица. Тихо идет, плавно, а Гошка вкруг нее кочетом ходит. Фабричные кричат:

— Покажи, Гошка, наших. Пусть знают!

Пляшет парень с девицей незнакомой и устали не знает. Хорошо, балалаечник устал и замолк... Кончился пляс. Гошка к дружкам кинулся, спрашивает:

— Что за девка-то будет, с коей плясал?

— Горничная хозяйская, — отвечают дружки, — Анной звать будто бы.

Прошло с того дня уж больше месяца, а у Гошки каждодневно с утра до вечера одна мысль: как увидеть Анюту — горничную из дворца хозяйского. Мастеровых-то ко двору мальцовскому близко не подпускали. Раза два видел Гошка Анюту в церкви, да подойти не решался.

«Нужно ей о себе какой-то знак подать», — решил парень.

А на другой день, в гуте работая, стал из стекла куклу делать. Сам над стеклом колдует, а все об Анюте думает. Лицо ее ему вспоминается, брови, глаза, коса русая до пояса и сарафан бирюзовый...

Сделал Гошка куклу, смотрит, а она ну как ни есть на Анюту похожа, и не думал так сделать — само вышло.

«Только чего-то чуточку не хватает, — подумал парень, — ах, вот оно дело-то в чем! Руки по-другому надобно сделать». И сделал. Стоит Анюта стеклянная в сарафане бирюзовом, одна рука крендельком в бок упирается, а вторая — с платочком, будто шея лебединая, вверх тянется.

— Ну вот теперь уж совсем Анюта, — вздохнул Гошка.

Был у мастерового среди прислуги мальцовской знакомый дед — конюх.

Подкараулил Гошка деда невдалеке от дворца хозяйского, сунул сверточек и говорит:

— Передай Анне.

Сказал так и ушел. Дед-то глуховат был, не расслышал, кому передать надобно. Да развернул Гошкин подарок, ахнул:

— Смотри-ка, горничная наша, Анюта! Ей, значит, и передать нужно...

Дня через три после того случилось воскресенью быть. И опять Гошка Анюту увидел. Увидела и она его — улыбнулась. А Гошка, набравшись смелости, подошел к Анне.

— Здравствуй, красавица, — говорит.

— Здравствуй, — шепнула Анюта и обойти уж Гошку хотела. Но тот ее за руку взял и не отпускает.

— Не беги... Разговор у нас недолгий будет. Скажи, пойдешь замуж за меня?

Смотрит Анюта на мастерового, глаза улыбаются, а слова вымолвить не может. Вырвала она свою руку из Гошкиной и побежала. И уж далеко была, обернулась, крикнула:

— У барина нашего спроси!

Не стал Гошка с этим делом канючить. На другой день в мальцовские хоромы подался. Слуги его не пускают, а он:

— Пустите, по делу, — говорит, — иду.

На шум вышел сам хозяин. Гошка хлоп ему в ноги — так, мол, и так, отдай за меня, барин, горничную свою.

Усмехнулся Мальцов:

— Ладно, Гошка, отдам тебе ее, но ты меня своей поделкой хрустальной удивить должен. Как удивишь — забирай Анюту, твоя.

Знал Мальцов, что у Гошки руки золотые, что мальчонкой на фабрику хрустальную его взяли, и ныне нет мастеров, ему равных.

Так и ушел Гошка от барина ни с чем.

Недели через две заходит к Мальцову управляющий и графин подает. Простой с виду-то графинчик, только беловатый чуть-чуть. А на графине по кругу надпись сделана: «Так испей же винца, не винца, так пивца, не пивца, так квасу, не квасу, так холодной водицы».

Управляющий держит графин за горлышко, ухмыляется и поворачивает посудину, чтобы хозяин прочесть написанное мог.

Прочитал Мальцов и нахмурился:

— За этим ты ко мне и заходил? Велика хитрость — на графине буквы вывести.

Тут управляющий и показал хозяину горлышко графина. А он, оказывается, искусно, опять же стеклом, на четыре части разгорожен: и для винца с пивцом, и для квасу с водицей место отведено. Мальцов смотрит, глаз не отводит.

— Кто сделал? — спрашивает.

— Гошка Дубов, — поклонился управляющий.

Мальцов сразу в лице изменился и говорит:

— Эка невидаль! У меня в Гусь-Хрустальном такие графины десятками дуют. — Повернулся и ушел.

— А Гошке-то что сказать? — пролепетал ему вслед управляющий.

— Не удивил он меня, — буркнул, не оборачиваясь, Мальцов.

После этого Гошка приуныл. Тут-то и пришел ему на помощь старый мастер Родион Корюнов. Приковылял он на трех ногах с поводырем в гуту и спрашивает:

— Где тут Гошка Дубов, тот, коему диковинку сделать надобно?

Указали ему Гошку. Отвел Родион его в сторонку, достал из кармана камень какой-то и говорит:

— Вот тебе, хлопец, возьми. Это александрит-камень. От деда мне достался, да не пришлось мне его в дело пустить, гляделки мои ослепли. Хотел внуку передать, да, видно, судьба тебе велела им пользоваться. Истолки в порошок камень этот. А потом как хрусталь жидкий на трубку наберешь, чтоб вазу выдуть-то, поначалу его в порошок обкатай, а потом уж вазу делай. Сказал так Родион, нащупал руку Гошкину, сунул ему александрит-камень и пошел прочь.

Сделал Гошка, как старик велел. Завернул он вазу свою в чистую холстину и во дворец к Мальцову пошел.

Пустили слуги Гошку на этот раз — знали, зачем идет.

— Ну что, опять удивить хочешь? — глянул недовольно на мастерового Мальцов. — Удивляй.

Подошел Гошка к столику резному, что у окна стоял, и развернул вазу. Ваза-то обыкновенная, из стекла будто простого сделанная. И рисунка на ней нет никакого.

— Ну и сделал чудо? — расхохотался с издевкой Мальцов. — Удивляй, а не то высечь прикажу.

— А ты, барин, не гогочи, — осмелел от обиды Гошка, — а встань и погляди на вазу вот

отсюда.

У Мальцова от дерзости мастерового лицо побагровело. Но все же встал на то место, которое Гошка указал, и, не отрывая глаз от вазы, стал ходить по гостиной.

Один шаг — и ваза становилась фиолетовой, как снег вечером зимним, еще шаг — зорькой пламенела, потом — как луговая травушка зеленела, а то голубизна в ней открывалась такая, будто в небо весеннее смотришь. Ну как есть радуга. Только радуга из хрусталя сделанная.

Гуляева ваза

Хрусталь раньше на новом Дятковке варили, а вот грань-то хрустальную по всем работным слободам резали: и на Пильне, и на Крупчатке, и на Буяновке. Как где запруда есть, так и колеса водяные ставили, а от этих колес камни шлифовальные крутились. Из всех мастеров по делу алмазному первым был Ефим Гуляев. Жил Ефим бобылем на отшибе от всех слобод. Посреди поля хата стояла да три сосны над ней. Поле то так до сей поры старики кличут Гуляевым. Обижен судьбой Ефим был. Когда ему десятый годок пошел, он в гуте на откосе хлопчиком работал да ночью в яму халявную свалился. Из-за того и стал горбуном. И всего-навсего Ефиму-то было дадено, что глаз острый да руки. С такими бы руками, ростом под притолоку надобно быть. Ан не вышло. А уж мастер был, каких поискать! Злые да завистливые языки говаривали, что Гуляй с чертом дружбу водит. Было чему позавидовать. Бывало, соберутся заводские на шлиховне и давай друг друга подзадоривать, кто стекло на круге прорежет — чтоб насквозь, а вода через порез не пробегала. Ни у кого не выходило. Один Ефим приноравливался. Сказывают, один француз Мальцову большие деньги давал, чтоб тот Ефима с ним за кордон отпустил.

Много поделок Гуляевых по свету разошлось, поди, и сейчас люди ими любят, но одну вазу Ефим сделал такую, какой не бывать более.

Однажды зимой дело было. Ночи длинные, а у бобыля-то еще длинней. Не спится Ефиму. Ворочается с боку на бок, а сон нейдет. За полночь время пошло. Лежит Ефим, и кажется ему, кто-то в плечо его легонько толкает. Откроет глаза, нет никого. Да и кому быть-то, до ближайшей слободы, почитай, версты полторы будет. Закроет глаза — в плечо опять: толк, толк. А за окном ветер свистит, стужу нагоняет.

Прислушался Ефим, будто сквозь шум ветряной, кто-то далеко «вставай, вставай» тоненьким голоском тянет. А в плечо опять: толк, толк. Открыл глаза, приподнял голову: никого нет, и голос пропал. Жутко стало Ефиму. Со страху-то встал, взглянул на окошко и ахнул. Сквозь стекло замороженное свет лунный пробивается, а на стекле... Много диковинок Гуляй видал, да и сам делал, но таких не довелось. Расцвел мороз оконце Ефимова цветами невиданными, посреди стекла будто пальма-дерево, а внизу трава диковинная в веночек сплелась. Долго Ефим любовался, а потом думает: «Дай угольком на стенке нарисую».

Только стал лучину засвечивать, дунул ветер с такой силой, что разбил стекло и лучину задул. Ефим окно зипуном заткнул и стал утра дожидаться. Чуть светать начало, выбежал наружу — и под окошко. Думает, сложу стекло-то, на рисунок еще посмотрю да и на вазу его нарежу. Копался, копался в сугробе, да ни одной боиночки найти не может. Совсем уж рассвело. До земли до самой Ефим дошел, а стекла нет и все. Слышит, за спиной у него кто-то покашливает. Оглянулся — старикашка древний улыбается и бородой трясет.

— Что, Ефимушка, ай в снегу-то день вчерашний ищешь? А день-то вчерашний человеку токмо в память дается.

Сказал так и пошел прочь по сугробам. Отошел малость, в ложок спустился и нет его. Ефим вдогонку побежал. Через сугробы до ложка добрался, а старик как в воду канул.

«Что-то неладно тут, — растревожилось Ефимово сердце. — И стариков-то таких в округе не видывал. Уж не дед ли дубовик из лесу вышел? Точно, он. Значит, его работа — рисунок морозный на стекле. Чем-то я ему по душе пришелся, коль чудо такое показал».

Только подумал так Ефим — и весь узор морозный вспомнил. Вытащил из окошка зипун и бегом на шлифовню. Выбрал вазу покрупнее, колесо шлифовальное поострее заточил и за работу взялся. Другие мастера заприметили, что Гуляев лихорадит что-то, стали приставать с расспросами, а он и не слышит будто. Уперся лбом в вазу, уцепился руками за края и режет без устали. У другого, наверное, руки от такой работы отвалились бы. А он хоть бы что! Начал вазу утром, а кончил уж при лучинах. Отдал на щетки полировальные, а как отполировали, смотреть на вазу все мастеровые сбегались. Начались тут ахи да охи. Вазы такой никто еще не видывал. А Ефим присел прямо на пол, прислонился к столбуху и заснул как убитый. Утром проснулся от голоса мальцовского:

— А ну, где тут ваза гуляевская?

«Уже донесли», — подумал Ефим. Только взглянул генерал на вазу и в карман сразу же полез, достал три рубля и сунул Ефиму.

— За усердие это тебе, голубчик.

Вазу в карету мальцовскую отнесли, во дворец переправили и в хоромах барских на видном месте поставили. А на другой год по осени повез Мальцов ту вазу на Московскую ярмарку. Поставили ее там в лавке ювелирной на черный бархат. Придет человек в лавку за покупкой, взглянет на вазу и забудет, зачем пришел.

Лавочник-то деньги брать за просмотр Ефимовой вазы стал. Заломил Мальцов за вазу 700 рублей золотом. Деньги большие, а покупателей все ж много находилось. Купили ту вазу для царских палат в Дворце Зимнем. И через день-другой отвезти на место должны были. Да зашла в лавку женщина какая-то. Повернулась нерасторопно, задела вазу, упала та и разбилась. А женщина выхватила из-за пазухи денег пачку и швырь на стол лавочнику. Тыщу рублей бросила. Скандал большой вышел. А Мальцов царских холопов успокаивает:

— Ничего, через неделю мой Ефим Гуляев еще дюжину таких ваз сделает.

Долго Ефим потом мучался над новой вазой, хрусталя перепортил уйму, а вазы такой, как та, разбитая, уже не мог сделать. На одну, видно, только сил было дадено.

И. ПАНЬКИН

Легенды о мастере Тычке

Да простит читатель, если в моей книге найдет рассказы меньше ладошки. Мы, туляки, народ занятой, и зря тарабарить нам недосуг. Мы даже не позволяем себе такой роскоши, чтобы в занятое время называть друг друга длинными и величальными именами. По отчеству наши деды назывались только в престольные праздники и в воскресные дни. Туляки всегда любили короткие имена, чтобы они свободно проходили через горло, не застревали в зубах и пролетали через цех, как пуля: «Чиж-ж! Левша-а! Тычка!» Да и меня на работе зовут именем короче ружейного залпа — Ив, хотя мать по наивности думала: как только я овладею грамотой, меня будут звать не только полным именем — Иваном, но и по батюшке —

Федоровым.

Любо или не любо кому, а в нашем городе повелось так: после «аз», «буки», «веди» никого еще не зовут дядей Федей. А кто любит хвалу и чтоб о нем в медные трубы дули, тому нечего делать в Туле. Так говорили наши деды, так говорим и мы. А коли так, не буду дальше терять время, а прямо приступлю к рассказам о необыкновенном мастере Тычке, который без слов, одними руками, мог рассмешить целый город, а ежели ему приходила нужда вымолвить слово, он мог вбить его, как гвоздь, не только в башку человека, а даже в обух топора.

Когда родился Тычка, про то никто толком не знает. Одни говорят — с первым ударом кузнечного молота о наковальню, другие — позже. Но когда бы он ни появился на свет, а заметили его при Петре I. И с тех пор его имя не сходило с уст и пожиточных и скудных людей. После Петра, какие бы цари ни садились на российский престол, каждый из них прежде всего старался Тычку запрятать в Сибирь. По триста Тычек ссылали туда, но только настоящий всегда оставался в Туле.

Но вернемся к тому времени, когда впервые заметили Тычку.

Сказывают, что управители российских городов и губерний не испытывали столько волнений и страхов при других царях, как при Петре I. Вишь ли, Петр-то был человек очень любознательный и беспокойный. Куда бы ни заехал — подай ему что-нибудь новое и удивительное. А если он ничего нового не видал, то на него нападала тоска и тогда уж от него добра не жди. Не посмотрит, что ты воевода или кто еще в этом роде. Может так разнести, только черепки от тебя полетят.

Поэтому, когда Петру приходилось разъезжать по России, каждый воевода или градоначальник молили Бога, чтобы царя пронесло мимо.

Как-то Петр совсем неожиданно нагрянул в Тулу. Приехал он с думкой: испытать самопальных мастеров, на что они способны, и решить, можно ли в Туле основать российский ружейный завод.

Только слуги успели вытащить из кареты всякую кладь, как Петр сразу к воеводе с вопросом:

— Кто у вас самый лучший ружейный мастер?

Воевода назвал всех пожиточных людей, которые промышляли самопальными делами. А Петр недовольно дернул щекой и опять к воеводе:

— Пожиточные люди не стоят у наковален, я спрашиваю о скудных. Кто из скудных людей считается лучшим мастером?

Воевода тут и стал в тупик. Ружейниками кишит вся кузнечная слобода, а кто из них лучший — этого-то он не ведал.

А Петр снова:

— Через пять минут чтобы привели мне самого лучшего мастера!

Ничего не оставалось делать воеводе, как только сказать:

— Слушаюсь, государь.

Вызвал воевода к себе какого-то там своего помощника и говорит:

— Найти самого лучшего ружейного мастера и через четыре минуты привести сюда!

Помощник воеводы вызвал своего помощника и приказал привести мастера через три минуты. А тот помощник своему помощнику приказал мастера привести через две минуты. А тот вызвал служилого по сыскным делам и уже дает приказ привести мастера через одну минуту. А до кузнечной слободы только на коляске нужно ехать более четверти часа, как же он может за такой срок найти мастера да еще привести в воеводский дом?!

Почесал затылок служилый и вместо кузнечной завернул на базар.

Смотрит, какой-то мужик носится с фузеей — с кремневым ружьем. Схватил служилый мужика за шиворот и приволок к воеводе.

Воевода не успел с ним перемолвиться словом, как из другой комнаты вышел царь.

— Это ли великий тульский мастер? — спрашивает Петр. — Как тебя звать?

— Тычкой, — отвечает мужик, — но только я совсем не великий, а всего-навсего ученик Парфена Зычки, который учился у Никишки Дички, а тот у Прошки Лычки.

Воеводу от слов Тычки прямо в пот бросило. Толкает его в бок, чтобы он замолчал, а Тычка видит, что царь разговаривает с ним по-простому, еще больше разошелся, даже государя стал называть Лексеичем.

Петр ему говорит:

— Сможешь ли починить эту штуку?

И подает ему сломанный пистолет, сделанный каким-то английским мастером.

— А что же не попробовать, — можно и попробовать, — отвечает Тычка. — Сроду мне не приходилось гнуть дуги, а летось попробовал — и не хуже, чем у ярославских мужиков вышло.

Вздыхнул тяжело Петр, но ничего не сказал Тычке, проводил его до дверей и не взял у него обратно пистолет.

Пока царь разговаривал с Тычкой, все чиновники навтыяжку, будто свечи, стояли, а когда Тычка скрылся из виду, сразу зашевелились. Оказывается, никто не спросил, где он живет, а царю об этом нельзя сказать.

Три дня и три ночи искали Тычку, а на четвертый он сам пришел. Пришел и, не торопясь, из-за пазухи вытащил пистолет и передал царю.

Потрогал Петр пистолет, пощелкал — работает.

— Вот если бы все умели не только чинить, но и делать такие чудесные вещи, тогда бы вас и на руках можно носить, — говорит Петр.

— Так чего же их не делать? — отвечает Тычка. — Такие пистолеты у нас подмастерья чуть ли не слюнями клеят.

Петр был горячий человек, не любил хорошую работу хаять, даже если она сделана руками иноземцев.

Поэтому, когда услышал от Тычки такие слова, даже усики у него от злости запрыгали. Потом царь поднял кулак и ударил Тычку.

— За что же, государь? — говорит Тычка.

— За тот пистолет, который ты хаял.

— Если только за тот, так забери его, он мне даром не нужен.

И возвращает он ему тот самый пистолет, который Петр давал для починки.

Оказывается, Тычка за три дня не только починил английский пистолет, но и сделал новый, как две капли воды похожий на английский.

Петр глядит то на один пистолет, то на другой, головой от восторженности крутит да работой Тычки восхищается. Потом совсем растрогался и говорит:

— Ну, братец мой, ты уж прости, что забидел тебя.

А Тычка был мужик с норовом, сбывчил голову и даже не глядит на царя.

Государь опять ему:

— Ну, если так не можешь простить, тогда уж и ты ударь меня.

— Да оно, может, так и следовало бы по правилу-то, да вишь, рука у меня мужицкая, как бы греха не натворить. Но если уж очень просишь, так тому и быть!

И так жажнул царя — тот чуть к стенке не прилип.

Когда царь пришел в себя и посмотрел на вельмож, ему неловко стало, что мужик его ударил. А как снова поглядел на Тычку и его могучие плечи, просиял и гордость его охватила за таких людей.

Обнял он тогда самопального мастера и вымолвил:

— Да пусть на плечах этих людей здесь вырастет русский ружейный завод!

И правда, вскоре у кузнечной слободы вырос ружейный завод, который потом и назвали именем Петра.

Может, царь Петр в своих бумагах про этот случай написал совсем по-другому, но мужики рассказывают так.

Мужики напрасно не скажут.

И еще говорят, что Петр тогда приказал наградить Тычку самой высшей российской наградой. И зареченские мастера для него выковали золотую медаль с изображением сказочной женщины-богатыря с колчаном на боку. И это не даром. По преданиям мужиков березового края, одна женщина-богатырь с давних пор и по сей день в своем колчане носит вместо стрел целый город с мастеровыми людьми. Женщину зовут Россией, а город — Тулой, где придерживаются такого завета: «Если стрелы о себе говорят в полете, то мастера — только творением рук».

А ежели так, то мне ничего не остается больше делать, как только открыть перед вами наш старый русский колчан и сказать:

— Если хотите о Тычке знать больше, послушайте других мастеров. Я же за свою жизнь сумел выковать только строки этой легенды.

Итак, я открываю колчан. * * *

Хлеб-то всегда начинают есть с корки, но издавна у нас повелось: когда перед молодым

человеком впервые открывают заводские ворота, его не спрашивают, чего доброго принес он в своей душе. Его спрашивают, к какой работе хочет он приложить руки. И случаются потому печальные истории.

Когда-то давно, еще при царствовании Екатерины II, на нашем ружейном заводе приключилась вот такая история. В искусный цех, где украшают ружья серебром и золотом, приняли в ученики парня. Ну, приняли так приняли: он должен мотать на ус, что скажет мастер, к которому приставлен. А на работе ведь так водится: люди не только шевелят руками, но и язык не оставляют без дела. Один завернет какое-нибудь острое словцо, а другой прибавит к нему и того похлестче. Без шуток и прибауток самая задушевная работа покажется каторгой. А парень тот, видя, как на работе вольно держатся мастера, тоже за ними — хи да ха. Только вертит во все стороны башкой да ловит, кто скажет что-нибудь смешное. А время-то идет. Не всю жизнь возле мастера тереться. Парень задумался: как ему быть? И начал он языком пробиваться в люди. То на одного мастера что-нибудь наплетет, то на другого. Бывает, кому-нибудь и пятки полижет. Будто чиреем на заводе стал. Так «Чирь» и прозвали. А люди ведь как иной раз глядят на эти болячки?

— Эй, Иван, чирь на твою ногу сел!

— Разве это чирь, когда его в лапоть можно втиснуть?

Пока мастеровые рассуждали так, парень Чирь и в лапоть не стал влезать. Сначала он перед начальством выдвинулся браковщиком — ценителем работ мастеров, а потом — надзирателем. Потом своего учителя начал учить да за бороду подергивать. Когда же сверстники ему показывали какую-нибудь хорошую работу, он даже синел от зависти. А когда Чирь почувствовал, что на него косо стали глядеть, совсем отделился от мастеровых и переехал с заречной стороны, где жил рабочий люд, на Стародворянскую улицу.

После этого произошел такой случай. Один старый мастер заметил в какой-то деревушке остроглазого мальчишку и привез его на завод. Мальчишка был еще не совсем разумного возраста, поэтому работать его не заставляли. И вот он ходит по цеху — то около одного мастера постоит, то около другого. То мастерит себе, пилит и прочее там мальчишеское дело делает. Особенно-то никто за ним не следил. Не шалит — и ладно. Но как-то раз его учитель нечаянно взглянул, над чем возится мальчишка, и ахнул. Этот пострел держал в руках дубовую ветку из железа. Ветка словно настоящая, ее листья были нежны и отдавали такой свежей зеленью, к которой не привык человеческий глаз. Эту ветку мальчишка будто только что сорвал с дерева. Тульских мастеров трудно удивить, ибо каждый из них видел на своем веку много всяких чудесных вещей, но ветка их удивила. Они вынесли ее на улицу и приставили к дереву: сядут ли на ветку птицы?

Птицы сели.

Тогда мастеровые спросили мальчишку, о чем он думал, когда делал ветку. Но что мог им ответить малый? Он сказал:

— Я не знаю.

— Но о чем-то ты, наверное, уж думал? — настаивали мастеровые.

— Я не думал, — сказал мальчишка, — я только заметил. Я заметил, что, когда начинают зеленеть дубравы, люди становятся добрее.

— А так они злые?

— Да, — сказал мальчишка.

Тогда люди опустили головы и задумались, почему жизнь заставляет их быть злыми. Пока они думали, во дворе появилось заводское начальство, а с ними и надзиратель Чирь. Времена были лихие, беспокойные. По России гулял Пугачев. На ружейном заводе мастеровые тоже чувствовали себя, как начиненные порохом. Начальство побаивалось, когда рабочие собирались вместе.

— Что за сборище? — закричало начальство. — Разойдись!

Желая показать свое усердие в службе, Чирь сорвал с дерева ветку и начал хлестать мальчишку. А много ли надо малому? Чирь хватил его несколько раз по голове железным прутом, тот и поник. Надзиратель спокойно, как будто ничего не случилось, выкинул ветку через забор в отвал, куда сбрасывают мусор, и опять встал рядом с начальством. Тут, у кого было и каменное сердце, и тот не мог сдержать гнев. Все с кулаками пошли на Чиря. Чирь видит, что дело плохо, стал отступать. Приперли его к воротам. Увидев над собой молот, он неожиданно превратился в собаку и юркнул через подворотню. Люди распахнули ворота, кинулись за ним, но разве собаку сразу поймаешь!

Начальство, перепугавшись, как бы с ними не произошло такое же, вызвало срочно солдат и приказало как можно скорее похоронить парнишку, чтобы он не тревожил больше сердца. А мастеров потом долго мордовали, многих даже в цепи заковали. Когда у людей начали сходить от батогах рубцы, они опять вспомнили ту ветку. Начали говорить граверам, чтобы они нашли ее, перерисовали для детей и внуков, пока еще не истребила ржа.

Пошли в отвал, увидели — ветка цела, она даже пустила свежие листья.

Добрые вещи и среди мусора не погибают.

А собака потом каждый вечер подходила к заводу и выла у ворот, хотела снова стать человеком, но уже не могла. * * *

Был у нас на заводе один человек, который никак не мог дожидаться, пока его признают мастером. Ходил он по начальству и жаловался на старых мастеров, что они его считают учеником, хотя он давно имеет документ мастера. Тыкал им всем в нос бумажкой, но радости своей работой никому не приносил. А в Туле, кроме диплома, привыкли еще смотреть на искусные руки и руки считать главным документом.

Этому человеку стало казаться, что его окружают злые люди, из-за которых он никогда не выйдет в мастера. Решил уйти из завода. И ушел бы, если бы Тычка за ним не заметил одну диковинку.

Сидел он днем за граверным верстаком, а вечером, после работы, переходил к столярному. Зачем?

Однажды открыл его рабочий ящик и вытащил оттуда красивую деревянную шкатулку. Она была так отполирована хорошо, что в нее можно было смотреться.

— Неужели это твоя работа? — спросил Тычка.

— А ты что думал, — ответил тот.

Тычка подвел к нему стариков.

Старики повертели в руках шкатулку и недоверчиво покачали головами: мол, мели, Емеля.

Тогда он взял обыкновенное полено и на глазах у мастеров так отшлифовал, что после этого посадили на него подкованную блоху, та корячилась, корячилась, а вспрыгнуть никак не могла.

Старики пожали ему руку и в первый раз назвали его по имени и отчеству. А в Туле говорят: «Если старики назвали тебя по батюшке, зачем тогда и генеральское звание. Значит, ты уже мастер». * * *

Однажды в Тулу совсем неожиданно приехала Катерина II. Здешнее начальство привыкло одаривать царей, а тут и подарка никакого не подготовили. Что делать? Забегали по мастеровым людям: не держит ли кто в голове хорошую задумку, которую можно быстро выполнить.

Вдруг Тычка сказал:

— Есть у меня одна задумка, только понравится ли?

Все знали, что работы Тычки ценились высоко и раскупались за большие деньги для музеев и художественных галерей. Только у начальства он был не в почете. Его всегда числили в списке неблагонадежных. Если где-нибудь вспыхивал бунт, даже за Уральскими горами, Тычку все равно на ночевку отправляли в острог, а днем держали прикованным на заводе.

В то время, когда приехала царица, где-то тоже бунтовали люди, и наш Тычка, как обычно, сидел прикованным к своему верстаку.

Так вот, когда он сказал про свою задумку, у начальства от радости даже глаза загорелись.

— Так если есть у тебя задумка, выполняй ее, — сказали они, — а понравится или нет, там увидим. Что тебе для этого нужно: серебро или золото?

— Ничего не нужно, — сказал Тычка, — только ночь свободы.

Начальство сейчас же цех окружило солдатами и расковало Тычку.

На второй день царице преподнесли изумительной красоты цепь цвета ночи и звезд. Царица была так довольна подарком, что насмотреться на него не могла. Когда же пришли снова заковывать Тычку, то у него цепи не оказалось.

— Где же твоя цепь? — спросили его.

— Как где? — сказал он. — На шее у царицы.

После того как царице вручили цепь, к Тычке подошел ученик и спросил:

— Мастер, а мастер, почему так получается: только вчера царица говорила, что таких людей, как вы, нужно держать на виду всей России, а сегодня даже не хочет замечать вас?

— О, милый мой, богатые люди любят музыкантов, только когда они играют. * * *

Остротой ума и веселостью рук в Туле никто не мог сравниться с мастером Тычкой. Недаром работные люди нарекли его таким именем. В давние времена на ружейном заводе тычкой называли керн — инструмент для разметки деталей. А наш веселый мастер мог не только на железе, а даже на самой плоской стороне человеческой жизни «откернить» такую деталь, которая людям запоминалась на века. Редко кто над ним осмеливался посмеяться. Но иной раз, подобно Кузьке, находились такие люди.

Кому не известно, что железо во все времена ценилось так же дорого, как и хлеб. Да и сейчас оно достается не дешевле хлеба. Недаром же хлеборобы до сих пор не могут спокойно проходить мимо напрасно брошенных зерен, а тульские мастеровые — мимо железа.

Как-то раз один из учеников Тычки, пришедший на завод из сытой семьи, увидев в кармане

своего учителя ржавую подкову, подобранную на дороге, спросил:

— Мастер, не бедность ли у вас выглядывает из кармана?

— Нет, — сказал Тычка, — это невежество заглядывает в карман. * * *

Если уж забрякали дугами, видно, не улежать и хомутам.

Могуч тот, кто душой чувствует свое ремесло и владеет многими знаниями. По-моему, таким могучим является мастер Тычка.

С вашего позволения, расскажу я о нем один случай.

Однажды, теперь уж не помню точно когда, к нам на завод привезли станок. С первого взгляда в нем будто бы не было ничего особенного. Одна святая простота. Но эта проклятая машина оказалась капризной, как избалованная невеста из богатой семьи. С одного конца хитро, с другого мудреней, а в середине ум за разум заходит. Кому ни поручали собрать станок и пустить его в ход, ни у кого это не получалось. Хотя охотников было очень много. Когда мастеровые приступали к делу, у каждого появлялось чувство беспомощности, как у цыпленка, упавшего в яму: кричать — голос слаб, взлететь — крылья малы. Потопчутся, потопчутся возле станка, как тетерева на току, покружатся, покружатся вокруг него, как вокруг кольца, и, не найдя ни начала ни конца, отходят прочь. И наконец, этот бедный станок настолько замучили, что если бы он был бычком, то перебодал бы всех от злости. Когда позвали мастера Тычку, люди сбежались к тому станку чуть ли не со всего завода, посмотреть, что же получится у носящего имя лучшего мастера столицы мастеров. Тычка сначала погладил станок, как замороженную лошадь в дороге, потом втиснул в его нутро несколько деталей, позвенел ими, привернул их гайками, и все услышали, как станок задышал, и почувствовали, что, ежели Тычка сейчас втиснет в него еще несколько деталей, — станок заговорит.

А у нас на заводе было два человека — Василь Васильев и Василь Петров, — которые получали деньги за то, что они числились на должностях хитрецов-мыслителей. Хотя я и не должен рассказывать, чем они занимались, да и завод держал это в строгом секрете, но весь город знал, что они половину жизни отдали на раздумье: как бы корову разрубить надвое, чтобы зад доить, а передок во щах варить. У Василь Васильева и Василь Петрова слава была так велика, что без них ни одно собрание и ни одно техническое совещание не обходилось. Для этих хитрецов-мыслителей в президиуме любого собрания специально ставили два стула, нужны они были здесь или не нужны. Без их речей и наставлений ни одна кошка не котилась в Туле. Они могли все: и хромого научить плясать. Их побаивались даже маститые конструкторы. Если кому-нибудь давали проектировать самую обыкновенную деревенскую телегу, то при обсуждении проекта он робел, как бы Василь Васильев и Василь Петров не вставили палки в колеса его телеги или же не предложили колеса разрубить пополам, чтобы они лучше катились.

Ну конечно, и на этот раз дело не обошлось без Василь Васильева и Василь Петрова. Но только, к их огорчению, Тычка не стал слушать советов.

А беспомощные всегда боятся уверенных людей и стараются чем-нибудь да опорочить их. В то время, когда мастер Тычка собирался задействовать к станку последние детали, хитрецы-мыслители взяли да и подменили их. Подкинули Тычке детали совсем от другого станка. Но Тычка был такой мастер, что у него даже с другими деталями заработал станок. * * *

У Тычки учился мужичок-чудачок с косинкой-хитринкой на левый глаз. Он и молоток держал в левой руке. На заводе его так и прозвали Левшой. У Левши вид был настолько неказистый, что все думали, он и мастеровым будет неказистым. Да и Тычка учил его делать только

гвозди.

— Сколько лет возле твоего фартука трется твой косой ученик? — с ухмылкой спрашивали Тычку другие мастера.

— Осьмой год скоро пойдет, — отвечал им Тычка.

— И для чего ты его держишь еще на гвоздях? Мы своих учеников давно научили кормить свои семьи.

— И только? — говорил Тычка. — А я хочу, чтобы он своими гвоздями сотворил чудо.

И Левша ими подковал блоху. * * *

Учеников у Тычки был целый город, и все творили чудеса.

В Туле давно мечтали поставить памятник Левше. И однажды объявили конкурс на создание монумента легендарному умельцу. Вскоре со всех концов России посыпалось столько проектов, что у наших ценителей искусств кругом пошла голова. Один памятник был величественнее другого, и не знали, на котором остановиться.

А на оружейном заводе был паренек, способный и грамотный малый. Он добился того, что мог на торце спички укладывать сто подков и свободно расписываться на кончике иглы. И когда он свои работы показывал другим, ему говорили:

— Хорошо, но у Левши чуточку лучше выходило.

Однажды разозлился малый и сказал:

— Тогда покажите работы Левши; если они действительно достойны легенд, я берусь своими руками ему сделать памятник.

Молодые мастера засмеялись, а у стариков заскребло в душе. Слишком его слова показались им дерзкими.

А в Туле от работ Левши остался только один гвоздик, которым он прибивал подковы блохе, да и тот держали под семью замками.

Тогда старики вытащили этот гвоздик и сказали:

— На! Хоть месяц смотри, если сумеешь сделать что-нибудь подобное.

Малый взял у них сгоряча этот гвоздик и пошел домой.

Проходит месяц, он все не несет гвоздя.

— Ты не потерял? — спрашивают его.

— Нет, — отвечает он.

Еще прошел месяц. Парень даже не заикается о гвозде.

— Ох, покорежил, наверно! — теперь уже с беспокойством заговорили старики.

— Да нет, — опять отвечает малый.

— А почему не несешь?

Схватили его тогда за шиворот и потащили домой. Приходят, взглянули на гвоздик, он

действительно покорежен. Что делать? Положили под увеличительное стекло, чтобы посмотреть, нельзя ли его снова выправить. Первый мастер только прильнул к стеклу и ахнул.

Оказывается, парень из этого гвоздя выковал самого Левшу.

И его работу признали самым лучшим памятником Левше. * * *

Тычке тоже хотели поставить монумент в Туле, но пока не нашлось такого веселого умельца, который мог бы вылепить если не его самого, то хотя бы руки, умевшие из кандалов выковать невиданной красоты ожерелье и этим рассмешить целое государство.

Пусть для него служит памятником вечный перестук молотков, пробуждающий в людях любовь к созиданию.

Примечания

1

Иванов день — или день Ивана Купалы, 24 июня; по преданию, в Иванову ночь цветет папоротник и раскрываются клады.

2

Запончик (запон или запона) — рабочий мужской фартук, иногда кожаный.

3

Скудаться — хилеть, недомогать, хворать.

4

Объедь — ядовитые растения, которыми объедается скот.

5

Смотница — сплетница.

6

Умуется — заговаривается, близко к помешательству.

7

Курочкин Андрей Михайлович (1770–1842);

Ершов Василий Артемьевич (1776–1850);

Загуляев Федор Тимофеевич (1792–1868) — знаменитые кораблестроители Архангелогородского адмиралтейства. Доставили кораблям архангельской конструкции мировую славу. Во второй половине XVIII века славился мастер Архангельского адмиралтейства Поспелов.

8

Фамилия мастера была Второушин, но более известен он был под прозвищем Тектон, что значит «строитель». (Примеч. автора.)

9

Головщина — уголовщина.

10

Кошка — отмель.

11

Палагушка — сосуд для молока.

Жужелица — хищное насекомое из семейства жуков.